

R 10-335 | 2
1983
w 6



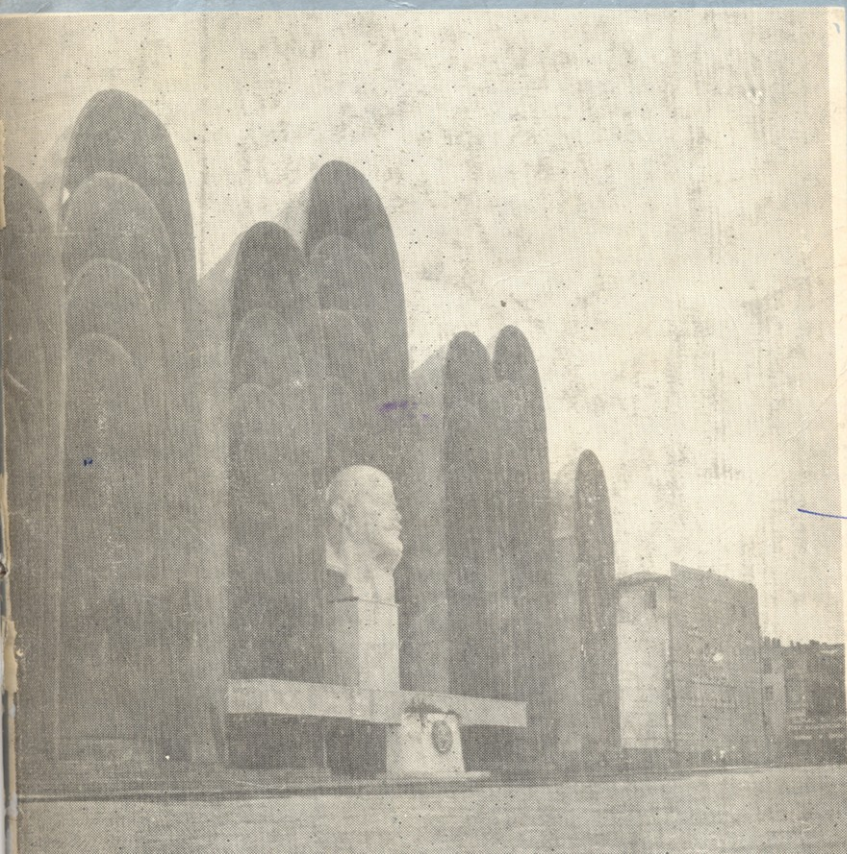
10.335/3
1983

ISSN 0130-3670

04935940
8024011033

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 6

1983



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Тигр и Мерани. Стихи. Перевод Наты Чхеидзе 3
- ТЕРЕНТИЙ ГРАНЕЛИ. Лирика. Перевод Гиви Орагвелидзе 4
- ОТАР ЧХЕИДЗЕ. Лабиринты ущелья. Роман. Перевод Нодара Тархнишвили. Продолжение 18
- СОСО ПАЙЧАДЗЕ. Последний дубль. Повесть. Перевод Динары Кондахсазовой . . . 87

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- РУСУДАН ГРИГОЛИЯ. Спешат на работу люди... 141

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- СОСО СИГУА. Возвращение в дом детства. Перевод Нелли Солод 151
- РАМАЗ СУРМАНИДЗЕ. Сергей Есенин и доктор Тарасенко 163

6

1983

- БОНДО АРВЕЛАДЗЕ. Итог огромного труда** 165
МИХАИЛ РАЗМАДЗЕ. Жизнь в стихе 172

К 200-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА

- ВАНО ШАДУРИ. Открытие нового поэтического
мира** 174
ИВАН БАБАЛАШВИЛИ. Боевое содружество 195

И ВСПОМИНАЕТСЯ ГУРАМ...

- АЛЬГИМАНТАС БУЧИС. Мы дружбой живы** 204
**ГУРАМ АСАТИАНИ. Слово о прибалтийской лите-
ратуре. Литература и новое поколение** 207

ИЗ ПРОШЛОГО

- АЛЕКСАНДР ТЕР-ОГАНОВ. Фотограф-летописец** 219

-
- ХРОНИКА** 223

© «Литературная Грузия», 1983 г.



Лирика

●
Только к тебе — дороги и тропки!
Листья шуршат, вещая прохладу.
Строчкой упыюсь, хорошою строчкой,
Были б стихи, иного не надо...

Молча пойду тропой тополиной
Мимо оград церквей и часовен.
Нет в том вины, никто не повинен
В том, что мой быт совсем не устроен.

Знай, дорогая, счастье познаю,
Если хоть пеплом встану из мертвых.
В мире стиха — я первый, но знаю:
Пленник я в нем, поэзии жертва.

Снова судьба дает мне отсрочку,
Листья шуршат, вещая прохладу.
Строчкой упыюсь, хорошою строчкой,
Были б стихи, иного не надо...

Я И ГАЛАКТИОН

Плохо мне было, звоны да стоны,
Новые боли мной овладели.

ПОЭТ ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ

061935940
3024010033

Терентий Гранели (Терентий Самсонович Квирквелия, 1898 — 1934) — известный грузинский поэт двадцатых-начала тридцатых годов. Одиночество, божественный быт и физические недуги во многом определили характер его поэзии. Она — сгусток мотивов безысходной печали, тоски, обреченности и бесплодных попыток вырваться к свету, к счастью, к новой жизни. «Петь по-иному сердце желает», — восклицал поэт, но, к сожалению, так и остался в плену указанных тем и настроений.

Мало изучена пока проблема не только личных, но и творческих взаимосвязей Гранели с Галактионом. Ясно сознавая гениальность своего высокого друга и преклоня-

ясь перед ним, Гранели иногда противопоставлял свою лирику поэзии Галактиона («Я и Галактион»), хотя объективно он так и остался талантливым, своеобразным, но все же поэтом «галактионовской плеяды».

Интересна также проблема внутренней связи творчества Гранели с русской поэзией начала XX века (Ал. Блок и другие).

Публикация подборки наиболее характерных стихотворений Терентия Гранели в переводе Гиви Орагвелидзе практически впервые предоставляет русскому читателю возможность ознакомиться со своеобразным явлением грузинской поэзии первой трети нашего столетия.

Демон крылатый — в Галактионе,
Ангел печальный — рядом с Гранели.

Письма хранили воспоминанья,
Листья опали, дни холодели.
В Галактионе — тверди сиянье,
Неба сиянье — ближе Гранели.

Вечер и ветер. Зависть лютует,
В четверть восьмого сумерки пели.
В Галактионе синь торжествует,
Пропасть зияет в строчках Гранели.

Плохо мне было, звоны да стоны,
Новые боли мной овладели.

Демон крылатый — в Галактионе,
Ангел печальный — рядом с Гранели.



●
Море и небо схожи друг с другом.
Будет и солнце, будут и ветры.
Ценишь не ценишь — не в том заслуга,
Будь человеком, не просто смертным.

К небу я снова жажду пробиться,
Будет и солнце, будут и ветры.
Был человеком, стал проходимцем,
Совість погибла — он не заметил.

В томной лазури дремлют высоты,
Будет и солнцё, будут и ветры.
Хоть ты и дышишь, умер давно ты,
Мил человеку, где же теперь ты?

Море и небо схожи друг с другом,
Будет и солнце, будут и ветры.
Ценишь не ценишь — не в том заслуга.
Будь человеком, не просто смертным.

ЗИМНИЙ БАРЕЛЬЕФ

Вечер — дрожащие свечи,
Только туман без просвета.
Тайны мучительной речи,
Слезы и кровь поэта.

Слезы — одно утешенье.
С ними и дышится проще.
Горечь окутала тени.
Сердце оставил я в роще.

Скобки открыло моление,
Только закрыть их не может.
Женщины бледной виденье
В зеркале вздрогнет тревожно.

Было желаний разных
Много. И звоны мне пели.
Смерти сгущаются краски,
Стужа вселяется в тело.

Вечер — дрожащие свечи,
Только туман без просвета.
Тайны мучительной речи,
Слезы и кровь поэта.

ВЕСНА

Му́кой утомленный, с воспаленным ликом,
С ношей непосильной всех земных печалей
В сад вхожу. В саду же — по зиме поминки,
Новых дней восходы обещают дали.

Скорбью я отмечен, как клеймом изгоя,
И не раз кружил я в смертоносном вихре.
Листьев шелестенья ждал вчера еще я,
Но вот снова вечер, тот весенний, тихий.

Ведь казалось, будто все перевернулось,
Что судьба, как сердце, в ветре разорвалась,
Синим сном нездешним вновь весна вернулась,
Как само движенье, как сама усталость...

●
Блока закрыв, пишу я,
Вновь ощущая дрожь.
В комнате мрак колдует,
Тихий снаружи дождь.

Солнце вчера блестело,
Синей была река.
В сердце опять засела
Сумрака дочь — тоска.

Снова к плохой погоде
Кличет вороний грай.
Мне бы на пароходе
В дальний добраться край.

Зорь тяжелы завесы,
Только враги кругом.
Грянет ли в поднебесье
Радости гулкий гром?



Бурю мне рок дарует
И испытанье гроз.
В комнате мрак колдует,
Тихий снаружи дождь.

О СЕБЕ

Тенью защиты не обладая,
Раньше лишь горе пел я да слезы.
Нынче в саду опять расцветают
Розы, фиалки, ландыш, мимоза.

В грешной судьбе и места нет счастью,
Только забота шествует рядом.
К тайне высокой сердцем причастный,
Ангелом стал я белого сада.

Снова судьба меня возвышает,
Словно молитвы белые слезы.
Нынче в саду опять расцветают
Розы, фиалки, ландыш, мимоза.



Муки опять уходят,
Сердцу однако не легче.
Вновь по земле сегодня
Двинусь дорогой вечной.

Пусть тишина не вторит,
Ветру отдам я сердце,
Чтоб одолеть просторы,
Чтоб убежать от смерти.

Ты же давно в могиле.
Словно змея, туманы.
Жизнь, что давно постыла,
Смерти отдам на память.

Дни угасанье помнят,
Сердцу однако не легче.
Вновь по земле сегодня
Двинусь дорогой вечной.

МИСТЕРИЯ

Попрано доверие
(Спорю с незнакомцем).
Этот стих — мистерия,
Сказ о смерти солнца.

Превращенный в мумию,
Жизни я чураюсь.
Городскими шумами
Больше не терзаюсь.

Садом позаброшенным
Прохожу я тайно.
Кипарисы рощею
Встали за окраиной.

И за что-то ратует
Глаз в своей печали.
Веет ароматами
Во цвету ткемали.

Попрано доверие
(Спорю с незнакомцем).
Этот стих — мистерия,
Сказ о смерти солнца.



Нынче двадцать третий день,
Свет мерцает в нише.
Время свечкой трепетной
Тает ночью тихой.

Я устал. Пределами
Бродит кто-то где-то.
И серьюгою белою
Месяц в небе светит.

С неба дума падает
Отсветом вселенной.
Вспоминаю Уайльда я
В камере тюремной.

Страсти вновь ответят мне,
Отбушуют, стихнут.
Время свечкой трепетной
Таает ночью тихой.



Скоро умолкнут споры да толки,
Голубем сердце к небу воспрянет.
Там, где стою я,— темень и только.
Место, куда никто не заглянет.

После затмения снова светает.
Стих — мое сердце и упованье.
Там, где стою я, пропасть зияет,
Место, куда никто не заглянет.

Вновь соберу я жизни осколки,
Бренное тело снова обманет.
Там, где стою я, — темень и только,
Место, куда никто не заглянет.

ГДЕ-ТО И КТО-ТО

И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

А. Блок

Поле окрест. Дума и горечь
Мертвое счастье снова уносят.
Где-то за лесом к станции поезд
С яростным свистом катит колеса.

Где-то у гроба ладана запах,
Город окутал саван тумана.
Где-то на почте стук аппарата
Мерно шифрует текст телеграммы.

Мертвое сердце осью вселенной
Перекосилось. Ветры нас ищут.
Где-то больницы корчатся стены,
Стоном больного вторит им крыша.

Часто укоры спину мне горбят,
Лик твой остался памяти верным.
На пароходе женщина в скорби
С моря на месяц смотрит ущербный.

Больно, а рядом нет никого здесь,
Дней ускользают бранные звенья.
В листьях шуршит печальная повесть,
Словно мужчины, плачут деревья.

Где-то наверно кто-то скончался
(Порвана ночь на мелкие клочья).
Список мучений не исчерпался,
Новые муки вижу воочью.

ЛУНА В ЛИСТЬЯХ

Горе сиротства чувствуешь близко,
Радость в сиротстве чувствуешь внятно.
Небом люблюсь. В шорохе листьев
Тускло мерцают лунные пятна.

Думы о смерти. Им не иссякнуть!
Радость, конечно, здесь неуместна.
В ночь погруженный, слышу внезапно
Музыки грохот в парке воскресном.

Знаю однако: скорбь моя свята,
С ней заключил союз я на братство.
Мнится, ушло сиротство куда-то —
Люди вокруг сменяются, толпятся.

Горе сиротства чувствуешь близко,
Радость в сиротстве чувствуешь внятно.
Небом люблюсь. В шорохе листьев
Тускло мерцают лунные пятна.



Снова затянет мглою окрестность,
Белые думы сердце запрудят.
Некто другой придет в это место
После, когда меня здесь не будет.

Месяц взойдет, как всходит обычно,
Белые думы сердце забудет.

Некто другой всплакнет, горемычный,
После, когда меня здесь не будет.

Снова вернется день упования,
Снова порывы демон остудит.
Некто другой присядет на камень
После, когда меня здесь не будет.



●
Дня выступает скорбная просинь.
В ветре смеюсь я, в ветре постылом,
В пропасть сонливо катится осень,
Ветки деревьев листьев лишились.

Мысли читают грустную повесть,
Руки
 железной кажутся плахой.
Сорванных листьев желтая прорва...
В лиственном лоне осень зачахнет.

ОСЕНЬ В ПОЛЯХ

Думы, как снег, душу изводят,
Звон колокольный полон печали.
Только явилась, снова уходит,
Осень уходит в сон изначальный.

В поле лежу. Ручей замирает,
Лошадь, как тень, маячит у леса.
Слабой рукой к земле прикасаюсь.
Гложет тоска, свет гаснет небесный.

Девичьим плачем тишь зазвенела,
Вторит ей эхо пасмурной тверди,
О, желтизна, ты мной овладела,
Значит — пора довериться смерти.

Грустной душе мерещится гибель,
Ворон парит в заоблачной выси.
Это же небо кто-то увидел,
Раньше меня на свет появившись.

Сердце молчит, опять непогода,
Скорбные ветры, хмурые дали.
Только явилась, снова уходит,
Осень уходит в сон изначальный.

ЗАСНЕЖЕННАЯ СВЕЧА

Знаю, придет вечер желанный,
С ним и предел мой и гибель.
Слышу, сестра, зов урагана,
Муки причину постигнув.

Слез снегопад тает белесый,
Память внезапно умолкла.
Падает скорбь белой невестой,
Кровь оставляя на стеклах.

Ходит опять возле могилы
Тень возжеланная тайны.
Скорбный мой дух свечкой бессильной
Стынет в заснеженной яме.

Мерно окрест ночь наступает —
Синей надежды истома.
Ветер умолк, тишь-то какая!..
Сумерки так невесомы!..

Только уйду, стих мой предстанет
В славы очерченном нимбе.
Слышу, сестра, зов урагана,
Муки причину постигнув.

ВЕТЕР ВОСПОМИНАНИЯ

Вечер. И ветер яростно рвется.
Желтые тучи — в небе угрюмом.
Больше не жду. Она не вернется.
Ночью о ней я даже не думал.

Солнце желтеет и неминуемый
Окрик надежды стынет в закате.
Горы покрыла синяя туча,
Словно верблюд, большой и горбатый.

Вечер. И ветер яростно рвется,
Лучшим порывам крылья ломая,
Больше не жду. Она не вернется,
В сад не войдет, как раньше бывало.

Ночь наступает, гасну, бессильный,
Скорбь вечерами жалит острее.
Может, она в тоске растворилась,
Может быть, где-то снегом белеет...

О, так и тянет горько заплакать!
Вечер. И ветер яростно рвется.
Женщина в ветре скрылась когда-то.
Больше не жду. Она не вернется.



К СЕСТРЕ

Ночи без сна меня одолели,
Днесь никуда от них мне не деться!
Помощи жду, сестра, поскорее!
Гибну, сестра, дай опереться!
Взор потухает, губы немеют...
Небо, уйми смятенное сердце!
Помощи жду. Скорее, скорее...
Гибну, сестра, дай опереться.
Снова ненастье. Снова возникли
Боли и страхи. Света не видно.
Где ты, сестра, где ты? Откликнись!
Гибну, сестра, кажется, гибну...

●

Выживет он или нет? — вопрошает Зозия¹.
Выживет он или нет? — стонет в скорби лазарет.
Ты, сестра, — мой талисман. Вытираю слезы я,
И мерещится в бреду новых скитов мрачный свет.
Выживет он или нет... Эхо откликается,
А во мне сгущается черный хаос вековой.
С этой койки ничего мне не открывается,
Кроме тьмы кладбищенской, кроме ямы гробовой.
В часе нет быстрее минут, чем минуты тщетности!
(Где-то колокольный звон. Где-то небеса зажглись).
Тело слабое мое — прерванная трепетность,
А поэзия моя — стон земли и сон земли.
Широко раскрыв глаза, вижу — входят призраки,
Наполняюсь липкой мглой, растворяюсь, как туман.
Вечность — только холода, горяча лишь призрачность!
Оттого не верю я в утешительный обман.
Выживет он или нет? — вопрошает Зозия.
Выживет он или нет? — стонет в скорби лазарет.
Ты, сестра, — мой талисман. Вытираю слезы я
И мерещится в бреду новых скитов мрачный свет.

¹ Так звали сестру поэта.

Сон мне душу заменяет,
Отдаюсь на милость рока.
Радует и поглощает
Тишина и одинокость.

Я застыл в саду под вечер,
Словно белое молчанье.
Увлекли меня, как смерчи,
Тишина и скорбь сознанья.

Небо с горизонтом слилось,
Скорбь зажглась в небесном лоне.
Вы теперь — моя стихия,
Тишина и затаенность.

Ты возникла в сердца тайне,
Будто роза на газоне.
Зреет жар воспоминанья
В колокольном перезвоне.

Вновь виденье голубое,
Снова белое виденье.
Жажду вечного покоя,
Тишины отдохновенья.

Так, закутанный в потемки,
Не молюсь, хоть в сердце кротость.
В мире существуют только
Тишина и одинокость.

ТИШИНА И ТЕМЬ

Мысли — костер, ночами горящий,
Манит виденье синего края,
Тело мое — прибежище распри,
Жалость к себе оно вызывает.

Сердце в крови, поскольку мишенью
Стало для стрел унылой печали.
Рвусь я туда, где царствует темень,
Где голоса давно отзвучали.

Пусто кругом в житейском пределе
(В тень переходит день вероломный).
Знаю, я пленник в собственном теле.
Тело — тюрьма, а я — заключенный.

●
Вижу, как тихо гасну,
Пламень сердечный губит.
Верно, готовит праздник
Тот, кто меня не любит.

Темная ночь. Ступени.
Сырость стоит в подвале.
Желтым листом осенним
Скорбное сердце стало.

Долго неделя длится,
Хаос кругом нестройный.
Часто теперь мне снится
Матери лик покойный.

Тополь дрожит, и ясно
Звук различаю трубный.
Вижу, как тихо гасну —
Пламень сердечный губит.

ОСЕНЬ

Осень застыла в запахах пряных,
Воспоминанья тают, как свечи.
Звуки рояля слышу в тумане,
Катится в пропасть пятницы вечер.

Жить не хочу. И смерти не жажду,
Нет в ней спасенья, знаю отныне.
Медленно шел я садом и так же
Медленно всех вас нынче покину.

Тот, кто беспечен, в ложе укромном
Спит, наслаждаясь мирным уютом.
Знаю, останусь вечно бездомным,
Улица домом вечно мне будет.

Зори туманом тающим дышат,
Ангела маску дарят мне дали.
Где-то веселые песни я слышу,
Знаю однако — кто-то печален...

Я ухожу. Но путь мне не страшен,
Лик озарен мой светом святыни.
Медленно шел я садом и так же
Медленно всех вас нынче покину.

МОЯ СУДЬБА

Вновь непогода. С прежнею силой
Горечь вселенной смотрит в глаза мне.
Снова к могиле матери милой
Слезы ведут — очищающий пламень.

Петь по-иному сердце желает,
Грех мой в другой откликнется песне.
Грузия, знаю, обожествляет
Дар мой, поэта выси небесной.

Жажду полей простор бесконечный,
Тянет в деревню дождик украдкой.
Эта вот скорбь останется вечно
Непостижимой в мире загадкой.

Где-то притихли горы, окрестность
Стелет туман угрюмый.
Раз не могу взлететь в поднебесье,
Значит — я вправду умер.

Где-то алеет утро над крышей,
Женщина ходит в шуме.
Если я это телом не слышу,
Значит — я вправду умер.

Кто-то ждет встречи с близкой душою,
Я же покорен думе.
Раз не могу взлететь над землею,
Значит — я вправду умер...

Перевод Гиви ОРАГВЕЛИДZE



Отар ЧХЕИДЗЕ

ЛАБИРИНТЫ УЩЕЛЬЯ

Р о м а н

Перевод
Нодара ТАРХНИШВИЛИ

Он не шутил, он был другой, он бы и не понял, если бы и услышал, о чем тут говорилось, — не без труда понимал грузинский язык; он долгое время жил в другой стране, большой стране. Там ему представилась возможность выйти на арену государственной и общественной деятельности, и постепенно, незаметно он позабыл, потерял язык грузинский, страсти грузинские. Родина, ее прошлое и грядущее, стали для него лишь небольшим пространством перед или под большими пространствами, он прославился там, на больших пространствах, на большие пространства прославился: маленькая страна не могла уже дать ничего, и все же он остался ей верен — или на старости лет воспылал любовью к местам своего детства, — и потянуло на родину, вот и вернулся, вернулся, и привез с собой прославленное свое имя и звания, безусловно, и любовь непорочную, искреннюю, безза-

Продолжение. Начало см. «Литературную Грузию» № 5 за 1983 год.

ветную привез, и встретили его любовь и ожидание, невесть куда запропастившегося, странствующего где-то сына встретила благодатная почва, благодатная, сильная и прочная, и он основал школу классической филологии. «Жизнь Картли» расправила крылья, далеко за пределами страны стали известны грузинские сказания, эпос, скованные одними цепями с греческими мифами, наступал грузинский дух из глубин веков, из тысячелетий, это происходило как бы само собой, независимо от него; если он нес лишь знание античных эпох, популяризировал достижения древних греков, «Жизнь Картли», то грузинские памятники, добытые археологами, состязались с ними, хотя, конечно, для этого требовалась ревностная кропотливая работа многих ученых, многих исследователей, это и есть благодатная почва, здесь расцвели и его дарования. И все же большой простор манил его, не так-то просто было, не так-то легко отвыкнуть, здесь иное было дыхание, иной размах, родная земля казалась ему маленькой, и он любил ее, любил и жалел; деваться было некуда, он радовался даже такому маленькому залу, что светился в зелени.

— Мы, тем не менее, ждем вас, — продолжает свита Эли.

— Должен, постараюсь, — сдался старик.

— Вы и лекцию нам прочтете, — добавляет свита.

— Постараюсь, постараюсь.

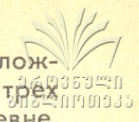
— Непременно, — загомонила свита Эли, — вы, говорят, расшифровали недавно найденный папирус. Вы находитесь здесь, а нам французский журнал об этом сообщает.

— Меня попросили, и знаете...

— И мы просим, просим, просим! — щебечет свита Эли. И он извиняется, обещает и извиняется, да, но говорит он не по-грузински, изредка вставит пару нужных грузинских слов, — либо он не окончательно забыл родной язык, либо по памяти из словарного фонда детства, он и выговаривал фразы как-то по-детски, а порой на местный лад, это ему шло, и он кра-

совался. Он был, впрочем, немногословен, и особенно часто не приходилось прибегать к грузинским словам; ему и книги переводили, изданные в разных местах книги, один переводчик стоял там же, скорее ради него кокетничала стая Эли.

Ради него! Он и не представился, только издали кивнул головой, этого было достаточно, чтобы выразить благодарность и проститься, он бы и отправился, но из-за него, из уважения к нему вынужден был задержаться, и если переводил, переводил из уважения, из уважения к нему, он и не взялся бы за перевод, или, может, его подгоняло все то же уважение, или, может быть, что другое, по своей воле он не взялся бы, а вот от принуждения или уважения, или что там еще, не сумел спастись, не сумел, и сам взялся преподавать иностранные языки в университете, ему дали лекции по международному праву, он готовился к политической деятельности, а осталось у него лишь это, осталось как наказание, и вообще ему все казалось наказанием, все — даже это заигрыванье старых дев и девушек, только-только вступивших в зрелость, — он был холост, и к нему тянулись, видному, с печатью глубокой печали на лице, и хотя он шагнул в шестой десяток, к нему тянулись, тянулись и тянулись, что с того, что он и не думал и не собирался жениться и не скрывал, что не хочет совать голову в тяжелое ярмо, тем не менее его преследовали, а он писал о легендах Сакиамуни, легендах Кришны, в комнате у него висела фотография Ницше, для отдыха он выискивал самую что ни на есть глухую дачу, и все-таки его находили, навещали, в одиночку и группами, одобряли его выбор, снимали дачи поблизости, он хотел одиночества, а они не отдавали его одиночеству, принуждали бывать с ними на пирах, вечеринках, толкали в самую гущу людей и развлечений, и он томился, любитель одиночества и размышлений, в раздумьях обретал он свободу; исходил все Боржомское ущелье, все самые тесные, затерянные ущелья, незнакомые и недоступные ущелья, Квачихе тоже была его открытием, он пришел сюда первым, и за ним последовали другие, за ним следовали всюду, и он томился, теперь он приютился в Нэдзури, пока его не обнаружили, в случае, если бы обнаружили, все было готово: три



семьи покинули деревню, перешли на противоположный берег реки, он поочередно снимал у всех свободные комнаты, другие бы поселились в деревне, конечно, же, овраг их разделял, и мост, такой узкий и ненадежный, вряд ли кто осмелится пройти; и все-таки он знал, что избрал слабое в стратегическом плане место, но что предпринять, пока не знал. Сюда он тем не менее спустился, не смог отказать Зурабу Квацихели, он был единственным гостем Зураба, всех остальных пригласила стая Эли, они и его разыскивали, не нашли, и вдруг он объявился, предстал неожиданно-негаданно — их радости не было границ, можно сказать, они были на седьмом небе от радости, другого не скажешь — любое сравнение покажется бесцветным, невзрачным: три старые девы порхали в стае Эли, три разведенные и три молоденькие девушки, не говорю уже о замужних,—и кокетничала стая Эли.

— Вы так любили Квацихуру! — журчала она.

— Да... да...

— И так невзлюбили! — щебетала она.

— Нет...

— Значит, вернетесь! — сияла она.

— Не смогу собраться так сразу.

— Ха, ха, ха... Большой семье трудно собираться?!

— лукаво спрашивала стая Эли.

— У каждого свои трудности.

— Мы облегчим.

— Разве я вас побеспокою!..

— Не стесняйтесь, — теперь уже молила стая Эли.

— Кто устоит перед вашей просьбой! — удивился другой, прославленный режиссер, удивленно взглянул на стаю Эли и, обращаясь к переводчику, прибавил: — Наверное, меня пригласят, меня тоже пригласят, и по крайней мере здесь мы встретимся, только уже сейчас хочу просить вас перевести Шиллера...

— Что вы...

— Вы так любите театр! Помните, в Женеве?

— Что делать, что делать...

— Вы не откажете мне.

— Непременно откажу.

— Не хотите помочь грузинскому театру?

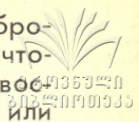
— Нельзя братья за все, надо быть способным на перевод, скажем, Шиллера.

— Я верю в вас.

— Благодарю. И тем не менее...

— Мы поговорим более обстоятельно.

И пританцовывала стая Эли, и волновалась стая Эли. Режиссер не любил откладывать дела в долгий ящик, но что поделаешь, когда не удастся уговорить сразу; режиссер с таким пылом искал новые переводы, новые пьесы, грузинские, ясно, искал и сам же отбирал перевод, и темы подбирал, и драматургов, романы или рассказы отбирал для переделки на грузинский лад, и не отставал от переводчика или интерпретатора, всегда пылкий, возбужденный, непреклонный и целеустремленный, не отставал и захватывал их, как увлек и захватил театр и труппу театра; и сцена при нем словно выросла, огромные декорации возведены были на сцене, поднимались и спускались, актеры носились туда и обратно, тут ступали на башню, там оказывались на вершине горы, вращались, сверкали, горел огонь, и актеры кипели на огне, зажигали зрителей, они были готовы вскочить со своих мест и броситься в горы, очиститься от мха и плесени своего бытия, уподобиться камням, скатывающимся с гор; он искал только такие пьесы, только таких героев хотел представить зрителю, не хватало пьес, не хватало, и он искал, молил, напишите мне трагедию Александра Батонишвили; это была бы картина и не только эпическая, это был бы полет над Кавказиони; задвигались бы горы, поднялись выше, еще выше; «исполнители главных ролей километров десять проходят на каждом спектакле», — говорили то ли шутники, то ли соперники, были у него соперники, ясно, и прибавляли, — «если не поднаторел в цирковом училище, в его театр не попадешь», прибавляли и преувеличивали, разумеется, может, и я несколько преувеличил, да все потому, что это из прошлого, из воспоминаний, воспоминания приукрашиваются обыкновенно, одно только бесспорно — и среди режиссеров появились у него почитатели и подражатели, им-то что, подражателям, не десять, а все сто километров учредили своим актерам, быструю ходьбу обратили в бег, самый настоящий бег, ни-



кого не щадили, ничего не оставили на месте, выбросили сложные предложения (монологи ведь уничтожили раньше), и диалоги вслед за ними низвели до восклицаний типа «ха!», «хэ!», «ва!», «ву!», и только это или нечто в этом роде выкрикивали актеры, и перелетали с горы на гору, с башни на башню, оказывались в комнате и гоп на потолок, и гремели с потолка «ха... ха, хай!» Гремели актеры, и все вокруг гремело, гремело и двигалось. Все, что существует,—суть лишь движение и темп, утверждали они, театр то же самое, ничего другого. Нашего режиссера все же иной жег огонь, подражатели не поняли, иной сжигал огонь, невыразимый словом, неистовый, а они ничего не поняли.

— Говорят, новый сезон вы встречаете премьерой?
— трепетала стая Эли.

— Непременно.
— А что если здесь назначить генеральную репетицию? — не унималась стая Эли.

— Прекрасная мысль, но...
— Не отказывайте нам, — затуманивалась стая Эли.

— Кто же вам откажет, но, говорю...
— И «но» не надо говорить! — пуще затуманивалась стая Эли.

— Мало места. Не те размеры. Подъемники купол сорвут, — пытался объяснить режиссер.

— Нет, не сорвут, не смогут подъемники сорвать купол. Хоть одно как-нибудь, хоть одно действие! — не унимался хор Эли.

— Давайте другое.
— Давайте! Давайте! — мерцал хор Эли.

— Монологи по Мачабели, из Шекспира.
— Хорошо, замечательно! — разволновался хор Эли.

— Но берегитесь подъемников.
— Это пускай вас не заботит, — щебетала стая Эли.

Не осмелились сказать сами, мол, берегитесь, или не додумались, и времени у них не оставалось, гости уезжали, прощались, каждый требовал своей доли внимания; эти, такие чувственные, порывистые, сами похитили бы чье угодно внимание, а застенчивые, не-

сомненно, нуждались в зорком глазе — вон такие, как тот замечательный художник: сколько времени стоит рядом, все ждет и ждет, и секунду не может урвать, чтобы просто сказать «до свидания», сказать и пойти своей дорогой. Всем уступал, давал выговориться или просто все его опережали — не догадывались, чего он хотел и чего ждал столько времени; стая Эли, она знала, стая знала и вытягивала шею, смотрела в его сторону, подбадривала, и он раскрывал было рот, но кто-то снова опережал, и он опускал голову и отворачивался, и стая Эли скисала, кислая мина предназначалась художнику, а этому, кто бы ни был, тем более знаменитому исследователю фольклора, очаровывающему своим красноречием, этому:

— О, как вы нас обрадовали!

— Благодарю. Возвращаюсь с чувством крайнего удовлетворения.

— Мы рады, если хоть как-то вас порадовали... — щебетал хор Эли.

— О, что вы!

— Столько удовольствий мы получали от ваших лекций! — ворковал хор Эли.

Ворковал, но говорил истину, аудитория, в которой он читал лекции, всегда была битком набита, студенты пропускали свои занятия и шли послушать его. Лекторы полупустых аудиторий недовольно ворчали, представляли в журналах «нет» и требовали от деканов наказания прогульщиков. Этот и не знал, что такое журнал, начинал лекцию прямо с дверей, читая, поднимался на кафедру, с трудом протиснувшись между студентами и кафедрой, начинал сверкать словом, мыслью, голосом. Он не прибегал к помощи рук, как другие, ни к какой помощи не прибегал, стоял прямо, только глаза сверкали, блестели глаза, точно высекали искры, и слово сыпало искры. И вот воскресли безымянные гении, бог весть из какого времени, он не разграничивал, не относил их к так называемым эпохам или классам, не делал различия между людьми, самоотверженно стремящимися к прекрасному, к самой сути прекрасного, стремящимися и обожающими по-своему, неподражаемо, в этом-то и заключалась извечная красота поэзии; о чем спорят люди — пусть разбираются другие, поэт стремится к прекрасному,

мчится с головокружительной быстротой, и ведет человека, возвышая его, очищая; он говорил о вечности прекрасного, вечности поэзии, и его самого захватывало поэтическое стремление, и он звал за собой слушателей. И студенты шли за ним, и были они там и здесь. Звонок сбрасывал их с высоты наземь. А потом снова начиналось то же стремление, тот же взлет и тот же звонок; он все равно стремился туда, рисовал, ваял прекрасное, невидимое, но зримое. И впрямь на самом деле ваял, говорю, а когда — лепил измученные, трагичные образы, такие как образ Александра Казбеги, лепил десницей, словом, и само слово лепил, хотя бы такое обыкновенное слово:

— До свиданья.

— До выставки, — тихо двигалась стая Эли.

— Непременно. Всенепременно. Вы нам должны объяснить... — колыхался хор Эли, и еще глубже втягивал голову в плечи художник — выставку именно его картин вознамерились устроить в Квацихском зале.

— Как бы неловкость не вышла, — тревожился художник.

— О, что вы?!

Не соглашался хор, но так, словно им все это было безразлично.

VI.

Будто преставились или изменились ожесточенные критики, или постеснялись бы, или поленились бы, не разошлись бы там, не пикнули там, в ущелье, в лесу, в горах, тщетной была подобная надежда, что и говорить, художник знал, художник опасался, а стая будто позабыла совершенно или не приняла в счет, что критики не прошли бы мимо, благо повод представлялся блестящий. Не упустили бы они такого повода, что вы, конечно же, не упустили бы! Годы прошли, он не устраивал персональной выставки, не устраивал сам или не получал на то разрешения, и на общих выставках не выставлял картин или не разрешали выставлять, ну и что же, все равно критики закручивали свои статьи,

вращали туда и обратно так, чтобы непременно задеть, поиздеваться, перечеркнуть его имя: поднаторели. В этом, никуда не делось бы от них его имя, оно застряло у них в глотке, имя, которое он снискал и здесь и там, да, и там — в Париже, на сложнейшей арене искусств; он понравился импрессионистам, достаточно и этого, чтобы посадить его на кол, к тому же ведь у него была своеобразная линия, касательно идей я промолчу, говорю вам о контурах, была ведь у него своеобразная линия, вольная, гибкая, раскованная, и цвета были своеобразные, под его кистью покрывались туманом и блестящие краски, в его поразительно гибких руках, словно лишенных костей, картина начинала звучать... И отняли кафедру в академии художеств, отняли, и кто бы уже уступил, допустил, чтобы он обучал других, когда сам ни в чем не разобрался до сих пор, ни одной домны не нарисовал, ни одного трактора, хотя однажды странным образом, причудливо вздымающийся кверху огонь он назвал «Революция», кого и чему он должен научить, оправдывались крикогубые критики, или, точнее говоря, красовались, гремели, шумели, наслали бы молнию, если бы у кого вырвались слова возражения им, крикогубым критикам, да ни у кого бы не вырвалось никаких возражений, понатаскались и слушатели — молчали притаившись, проглотив языки, будто и здесь они — и нет их, будто верят — и не верят, будто рады, будто не рады — каменели, одним словом, что же до стаи Эли, что же до нее — какая напасть на нее напала, только на этот вопрос и осталось ответить. Художник все отказывался, но как-то робко, умоляюще выражал свой отказ:

.. — Не надо...

.. — Нам надо! — капризничал хор Эли.

— Для чего вам это надо?

— Надо! — упорствовал хор.

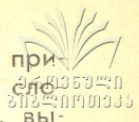
— Может, передумаете все же.

— Что это, приказ? — роптала стая Эли, рокотала, точно была всемогущей. Там, в ущелье, так и получалось: молчал лес, молчали горы, солнце приугасло, Квацихура скользила, скрывалась незаметно, сбегала тайком, словно и природу покорили, и гости покорно прощались с ними, и бурлила стая Эли, шумела и сверкала; потом отстали, отстали вдруг, разом, ког-

да последний гость скрылся с глаз, сникли вдруг, утомились вдруг разом. Одна только Эли оставалась бранной, еще кого-то чаяла увидеть, кого-то еще искали ее глаза, искали и не находили, не находили и все равно искали — неужели ушел, не простившись, исчез вчера же; ворвался, закружил всем голову и исчез так же незаметно, как появился; может, кто-нибудь знает, хотя бы Зураб. И Эли уставилась на Зураба. Зураб тотчас опустил голову, опустил голову, ничего больше, опустил голову и ушел, поплелся — он тоже устал, все устали, и стая разбрелась. Одна Эли стояла в раздумье, стояла и не могла стоять, ждала и уже не ждала, уходила и не могла уйти, почему ждала, уж и не знала. А что Квацихура, Квацихура слегка шелестела, скользила между глыбами как можно бесшумней, затаив дыхание, тайком покидала Квацихе. Воды реки спали, но не беда, весной вновь настанет половодье. А что Эли? — сколько таких вечеров прошло, сколько еще пройдет, сколько прошло уныло, сколько красиво, как вчера, у скольких изменился характер, сколькие очистились, возвысились, сколькие исполнились печали и горечи, скольких она вспоминала часто, скольких не хотела вспоминать вовсе, не перечесть, только этот вечер обратился для нее в загадку, все запуталось — перепуталось, да так, что один конец случайно попал ей в руки и она искала второй, затерянный в непроходимых дебрях. Тот один конец увязался за ней с зарей, с зарей ее жизни: тогда Тбилиси праздновал, вся Грузия праздновала, она помнит только праздник в Тбилиси, помнит зеркальный зал, избранное тбилисское общество, тогдашнее избранное общество, понятно, свой первый выход в общество, первое видение, первое наблюдение, первый восторг и ее и остальных, первая зависть, не ее, нет, других, разных всяких, ибо она смотрела с восторгом на всех, на всех, все и вся, все ее радовали, все радовало, искренность, юность и красота били из нее ключом. И все ей было к лицу, все шло, стояла она или двигалась, слушала или отвечала, искренность подходила ей, выделяла ее. Потому и на виду оказалась внезапно и проиграла, проиграла искренность или искреннейший восторг: но это потом,

тогда звучали звуки «картули», раздвинулось собрание, девушки в грузинских одеждах или нарядах, с ситами в руках, с ситами, полными муки, тут же просеяли, в танце усеяли мукой середину зала, в танце упорхнули, потому что испугались, когда некий молодец, разбежавшись и прыгнув, вонзил пальцы ног в самую середину зала и пошел на носках, и мускул не дрогнул на его лице, вытянулся, вроде стоял неподвижно, а все равно скользил; доли звучал вполголоса, напевал саламури, и дыхание присутствующих звучало, ничего больше, только дышали, и то осторожно, старались сдерживать дыхание; шелест издавали движения танцора, был шелест или скольжение по гладкому паркету, мука сбивалась, отметалась в сторону, уступая дорогу танцору... Потом и дорога кончилась, ибо кончилась вязь замечательных грузинских письмен, кончилась и вычертилось отчетливо: «Слава Грузии!». Ясное дело, последовал всеобщий восторг, только она первой к нему подбежала, только она (остальные не сдвинулись с места), так они подходили друг другу, столь искренен был тот восторг, тот взлет, та непосредственность, никто не сдвинулся с места, доли прибавил звук, прибавил и саламури, люди захлопали в такт, и завлек ее ритм, завлек саламури, пошла она за молодецем и танцевали двое, танцевали довольно долго, танцевали так, будто вместе выучились танцу, натренировались вместе давным-давно, и поразительно как хорошо. Потом присутствующие приняли это за постановку, блестящую постановку, только она одна знала, или что она знала?! Ничего она не знала, не понимала, как это произошло, что ее подтолкнуло, или что заставило осмелеть, как она очутилась между разведенными в сторону руками, что бросило ее в руки орла, что заставило ее лететь, куда она летела, почему не боялась или почему не чувствовала усталости и... будет ли конец этому вольному полету — да, не знала, как все случилось, и все же это был тот один конец, который вот уже столько лет она держала в руках.

Держала и с удовольствием вспоминала, а тогда она блаженствовала, то стыдилась, то гордилась, что украсила праздник, верила, что украсила, да и говорили ей, что украсила, и приглашали на праздники, семейные или общественные, благотворительные или устраи-

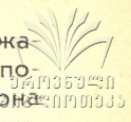


ваемые властями, приглашали и поздравляли, и приезжих послов ей представляли, и она выслушивала слова одобрения и благодарности на многих языках, выслушивала и бывала рада, только вот помнила иначе то внезапное, то произвольное, то восторженное, то прекрасное, первое... Большого не скажешь, и преувеличивать нельзя, нет, несколько, таким было чувство зрелой девичьей поры, чувство вспыхнувшего девичества. Они не встречались больше. Он всегда куда-то уезжал, ему поручали, он исполнял, поручали еще и еще, обещали повышение или успех, Эли тоже обещала, про себя, в мыслях обещала блестящий и содержательный танец. Под небосводом, в переливающихся лучах солнца, они были бы вдвоем, конечно же вдвоем, обвеваемые легким ветерком... Однако мир вскоре закружился иным манером, рассеял мысли и мечты, и он пропал, запропастился куда-то, оставив одни воспоминания, и это был все тот же один конец, и она по-прежнему держала его в руках, сматывала, сматывала и не могла смотать, запутался огромный клубок, и узлов на нем появилось великое множество, и не могла она их распутать, развязать, и вот вроде бы распутался узел — или пуще прежнего запутался, судите сами, — внезапно он появился, исчез так же внезапно, не изменился, нет, не изменился, что только не перевернулось вверх дном, а он как ни в чем ни бывало, все носится, все так же скользит, все так же выписывает округлый алфавит пальцами ног, несколько возмужал, правда, чуть участилось дыхание, тогда он словно не дышал, носился по кругу и увлек девушку. И глаза сверкали, как небо перед градом, он увлек ее блеском предградовых молний, а теперь в глазах — озеро печали, и он сам утонул в нем, если долго смотреть, утонет всякий. И все же он отдался самозабвению или страсти, жизни, отдался на миг, пришел в себя и качнулся: другие этого не заметили, одна Эли заметила, она, конечно, тоже подалась тому полету, тем крыльям, крыльям орла, и вот словно он вдруг сбился, вот-вот рухнет на землю, — крылья на мгновение опустились, он пошатнулся, он пошатнулся, и она, казалось, вот-вот упадет, но так же быстро прошло, исчезло это

тяжкое мгновенье, так же внезапно, как и возникло, и он кивнул ей головой на прощание, кивнул головой и исчез, тут поэт оказался между ними, и она не заметила, когда или куда он исчез, а она думала, что он проводит её к столу.

Наверное, так же думал и Бахчо: схватил стул поэта, уже не уступал поэту, может, для того хотел, для танцора, но что с того, хотел или нет, тот исчез, он не видел его и спрашивал Эли, куда она делся и кто он такой.

В таких случаях любой задал бы подобный вопрос, просто так, из любопытства, вот он и задал, а потом, как известно, поднялся, вышел и вернулся, и почему-то заговорил о Доне-Педро-колченогом. Эли стала защищать колченогого. Бахчо заботливо заметил: «Устала ты, Эли». Она и впрямь почувствовала усталость, встала и последовала за ним... Они пришли домой, и Эли тут же нырнула в постель, спряталась под одеялом, но сон к ней не шел, и отдыхать она не отдыхала, лежала с закрытыми глазами, спрятавшись с головой под одеялом, слышала, скорее видела, как Бахчо играл с мальчиком, как делал вид, что борется с ним, как притворился, что упал, как уложил его в соседней комнате, тут он уже не прикидывался, уложил, а сам лег рядом с женой... А Эли уже его не видела — мысли и чувства ее дремали. Бахчо решил, что она спит. Осторожно, стараясь не разбудить, встал спозаранку и уехал. Эли прекрасно знала своего супруга, знала о делах, которыми тот, можно сказать, был захвачен, отдавался всем своим существом: сюда он единственно приезжал навестить мальчика и, взвешивая на руках, радовался его здоровью, заодно справлял свой супружеский долг и уезжал в тот же день или рано утром, отоспавшись, не теряя времени на всякие вопросы вроде, скажем, об этом самом клубке или его конце, который поймала Эли, как она наматывала или почему не могла наматывать, все, что касалось Эли, касалось ее одной, дела жены его не трогали и не интересовали. Эли даже удивилась, когда он наемни заметил, что она устала, и посоветовал отдохнуть. Она лежала охваченная сбивчивыми мыслями, краем глаза видела сапоги, не самого мужа, одни только ноги в сапогах; сапоги вышли из комнаты на балкон и насколько возможно осторожно

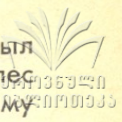


спускались вниз, но как ни осторожничай, сапог, кожаный он или полотняный, издает своеобразный звук; потом звук исчез, затерялся где-то в проулке, а она лежала со своим запутанным клубком во власти запутанных мыслей, тот убегал, ускользал, удирал.

Удирал — и пусть удирает к черту, на что ей тот один конец, чего она все никак его не выпустит, — мог спросить кто-нибудь, почему бы нет, запросто мог спросить, а она и с трудом не смогла бы ответить. Да и вообще, когда бы на вопросы легко было отвечать, люди были бы непосредственней и жизнь легче, а жизнь, куда там легче, — завертелась в обратную сторону, усложнилась и усложнялась все больше, запутаннее становились вопросы и ответы; запуталось все, как прядь Элиных волос. Поймаешь один конец своего клубка — и то хорошо, а, может, и хуже — во всяком случае Эли думала, что ничего ее не потревожит, что не будет бессонных ночей, что он придет, как другие, выспавшийся, спокойный. Но он отличился — привиделся и исчез, она была заморожена, зачарована привидением. Гульчина по крайней мере не была привидением. Теперь о Гульчине. В приготовлениях к празднику зала вдруг понадобилось сито. Никто не спрашивал, для чего или на что, сказали «нужно» и принялись искать, засуетились, забегали. Квацихцы ведь были горцы, жили в лесах, кукурузу сеяли в небольших логах, кукурузу сеяли и мчади выпекали — для кукурузной муки годилось решето. Пшеницу если и приобретали, так больше про запас, на каду и назуки и прочие пироги, весело становилось у них на душе, очень весело или не очень весело, все равно — они пекли пироги, и одного сита хватало на всю деревню, уносили — возвращали, носили вверх и вниз, никто уже и не помнил, кому оно принадлежало, возвращали — оставалось там, где начинался и завершался пир (давно, должно быть, он кончился, понадобилось сито и не нашли), бросились в один дом, бросились в другой, не нашли, и следовало приобрести, если не деревне, так им, дачникам, празднующим праздник. И забегали в поисках сита. Послали человека на боржомский базар, и на ха-

шурский базар послали, не нашлось сита, решета были, а сита не нашли, наверное, уже не просеивали муку мелко, и на сито спроса не было, не сплетали их мастера. И все-таки надо было искать у них; среди мастеров, изготавливающих сита, славились ахалцихцы. В Ахалцихе послали человека, и сито доставили, слава богу, вовремя все бы успелось: пироги, хлеба и лаваша, када и назуки, сладости всякие и всякие, но сито попало в руки к Гульчине, и она никому его не давала. Так и предстала Гульчина не привидением, но человеком во плоти, не отдавала сита ко всеобщему недоумению, никто не мог понять, для чего оно Гульчине, почему не отдает, и если все-таки удастся его получить, почему она буквально дрожала над ним: на что ей было сито, ей-то на что оно было нужно, ведь она ответственна была за танцы, танцоры и танцевальная часть были закреплены за ней. Потом все прояснилось, разумеется, ведь в зал сперва Гульчина впорхнула с ситом... Да, я это пропустил... Так вот, именно Гульчина впорхнула первой, обошла зал, нежно извиваясь в танце, обошла и сыпала муку, танцевало сито, танцевала мука. Так предстала Гульчина, и вроде бы зашевелился тот один конец в запутанном клубке, вроде бы подался, но нет, тут же и запутался в узел.

Зураб посоветовал, доложила Гульчина, подлинная Гульчина, не думайте, что воображаемая, пусть, говорит, сюрпризом будет, так он посоветовал, и сюрприз получился, больше я ничего не знаю. Знала или нет, след вел к Зурабу, вел и тут же исчезал, тут же исчезал, тут же застревал, снова застревал и тот один конец, застревал, завязываясь в узел, невозможно было распутать запутанную пряжу, запутанную навсегда. Ведь она сразу же заподозрила, ведь с самого начала уставилась на Зураба; он опустил голову и ушел, она металась на него взгляды снова и снова, и он уходил, надо полагать, она бы не отстала, вцепилась бы в него, пристала бы в одну душу — настойчивость непременно принесет свои плоды, непременно, только представил-



ся бы случай, требовался повод. Повод был, зал был поводом, только Зураб исчез из Квацixe, ушел в лес надолго или на все лето, возможно, и на все лето, ему дали план по лесозаготовкам: надо было отобрать деревья — не мог он позволить рубить лес, как попало. Словом, он нашел повод получше и ушел, скрылся, вот, мол, вам зал, развлекайтесь, как угодно, кончится и это лето, и вы пойдете своей дорогой. А что потом?.. Ничего, конечно, или ожидание будущего лета, или ожидания случая, случай все же светлее, он непредвиден и потому светел.

Зал завлекал.

Многое задумали, веселились, и он веселился.

Уже справили один вечер, впереди были другие.

Обсуждал хор, спорил хор, зачинщица внезапно терялась, внимание Эли рассеивалось, или взгляд убегал как-то сам по себе, или двери приковывали его, или окна, или — купол, словно кто-то мог выглянуть оттуда или спуститься. И смеялась Гульчина, смеялась звонко, «а-а-а, идет» добавляли остальные, трещал хор, трещал купол, смеялся, смеялись, они смеялись и купол смеялся в ответ. Многое задумали, одним словом, и развеселились. Развеселилась Квацixe, деревушка унылая и скучная против веселого, искристого, шумного и кипучего Боржоми. Если прибегнуть к сравнению — дачники в Боржоми кипели и шумели, словно боржомский водопад. Чем выше в горы, тем приглушенной всплески веселья, но люди вынуждены были снимать дачи повыше — Боржоми уже не вмещал всех желающих, росли цены на квартиры, росли цены на продукты, молоко и мацони трудно стало доставать, одного веселья было уже мало, поскольку и веселье перестало быть похожим на веселье, одним видом боржомского водопада и водой не обойтись, и люди начали подниматься выше. И тогда-то, именно тогда бесплатно доставляли дачникам молоко и мацони. Это первым дачникам, потом уже нет, ясно, уже и там на все цены наложили, пришли люди и принесли с собой некий ценник: цену на зелень, цену на ткемали, цену на перец, пришли люди и принесли веселье, но не такое, какое царило в Боржоми, и не сразу, но так или

иначе веселое оживление медленно шло в гору, цена тоже шла в гору и опережала веселье, все опережала цена, но не одолевала веселья. Квацixe, тем не менее, славилась скукой, спрятала голову в облаках, притаилась над боржомскими горами, уютно расположилась в глухом ущелье. Но и туда проникло веселье, желанное, преобразующее людей. Ничего, что у Эли запуталась прядь, что она не могла смотать нитки в клубок, ничего особенного, ничего, если и у Гульчины запуталась прядь, если у всего хора Эли запутались пряди волос, ничего, ибо жизнь, видно, та же прядь, растрепанная-перерастрепанная, запутанная-перезапутанная, завязанная в гордиев узел, пряжа, что волшебники пряли, волшебники запутывали и подбросили каждому свое, так и рассказывается в наших сказках, которые нам кажутся самыми лучшими, лучше, чем сказки других народов, кажутся и должны казаться: сидит волшебник на перекрестке и прядет свою пряжу, как ни старайся — не обойдешь, ведь волшебник сидит на перекрестке, и куда бы ты ни пошел, твоя пряжа с тобой, запутанная пряжа, растреплется — и ты должен ее распутать, хочешь того или нет, и смотать в клубок — у кого тут же нить оборвется, и вокруг пальца не успеет обмотать, у кого она чуть длиннее, это и есть начало и конец жизни, мыслящий распутает, говорят, а выясняется, что нет, не смог распутать пряжу и смотать в клубок до конца.

Что бы там ни было и как бы там ни было, зал, тем не менее, вмиг пересоздал квацixское лето.

И трещал купол зала, когда трещал хор Эли...

VII.

Зураб, значит, ушел, ушел в лес, построил зал, утолил свою жажду и решил как бы отдохнуть: ясно, не мог он дать ничего больше Квацixe и отдыхал от Квацixe, отдохнул, и теперь Квацixe или Лихи, Кехви, пусть даже Ушгули или какая другая деревня, ему все было безразлично, только оставил он в Квацixe обиталище свое, но до наступления зимы и в ней никакой не было нужды, да и зимой разве что большой снег мог выгнать его из леса, словно оленя, а, может, он не испугался бы и снегопада, сложил бы в лесу ша-



лаши и зимовал, где попало, то в одном шалаше, то в другом, смотря по тому, где застанет ненастье. Огонь был всегда, еды понадобится немного, легко можно обойтись и сухарями, черствым сыром, подержишь над огнем, и хлеб будто только из торни достали, сыр будто только вынули из сыворотки. Летом и огня не требовалось, опустишь в холодный родник — и дело с концом, и далеко ходить не надо — у родников понаставил он шалаша, и зачерствевшие хлеба положил, и сыр зачерствевший, и мед пусть засахарившийся, ведь при первом же соприкосновении с огнем он бы растаял, конечно же. Лучшего царям не пожелаешь, это потому говорится, что цари запасаются неумело. И буквые деревья росли в лесу, буквыми орешками можно лакомиться в случае, если останешься зимовать, а почему бы и нет, внизу, в долине, никто бы его не хватился, в горах тоже, жил бы себе в лесу. Но пока по-прежнему было лето, пока еще зноем полыхал воздух, в лесу все еще было прохладно, цвели цветы, зеленая трава оставалась зеленой травой, звери оставались зверьями, птицы оставались птицами, распевали каждая на свой лад, и все еще жужжали насекомые.

Не зря я тут насекомых упомянул, пока что, кажется, никого не упоминал бессмысленно и впустую.

И насекомые жужжали на разные лады, многочисленное и разнообразное жужжание сплеталось, смешивалось, а пчела все-таки выделялась, конечно же, иначе выражала она блаженство, по-иному совершенно. Ведь сказано: все мухи жужжат — перед пчелой грешат.

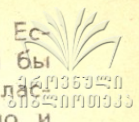
К слову пришлось, и я упомянул пчелу, и тут же пословица сама по себе всплыла в памяти, но и это не зря, не даром.

В самом деле летала пчела, жужжала над квацихскими отрогами, расщелинами, обрывами, на полянах, в лесу жужжала пчела, обгоняла Зураба или летела навстречу, летела рядом или красовалась — смотри, мол, какая нагруженная возвращаюсь домой, да, красовалась перед ним, ибо принадлежала ему.

Может, сделаешь мне замечание, говори, мол, о

чем-то одним, а не обо всем разом, не надо, не делай мне замечаний, скажу и без того: на спуске к Квацихуре была у Зураба пасека. Одна сторона спуска была отвесной, оголенный склон блестел на солнце. Зураб полукругом обнес спуск столбами, со стороны леса столбы были чаще, чтобы зверь не смог подступиться к пчелам. Прикрыл он и скальную сторону, это только для отвода глаз, чтобы она издали, снизу, башней казалась, он и бревна выстругал зубцами. Круг со стороны обрыва открыл, эта часть ниоткуда не просматривалась, гора закрывала ее, покрытая густым лесом неприступная гора. Это издали. Вблизи же обрыв был недоступным и для людей, и для зверей. Пчелы одни пользовались им, улетали за нектаром, и отяжелевшие возвращались с победным жужжанием. Зураб легко отличал, летели пчелы с пасеки или возвращались домой, какое семейство грустило и почему, куда подались и почему, что бы их успокоило и усмирило, — легко угадывал и так же легко помогал им, облегчал им жизнь, выручал. И пчелы знали своего благодетеля в лицо, души в нем не чаяли, ибо он сам души в них не чаял, носился с ними и там, на пасеке, и дальше за ней, где-то далеко, в лесу и на лугу, вдоль Квацихуры, всюду, где только приходилось встретиться, они узнавали друг друга и радовались.

Вот это я хотел сказать предварительно, а теперь прибавлю: около ста ульев стояло на пасеке, — уже нет, не столько, — он и больше выводил, только не оставлял себе больше, одни дарил, на другие находился покупатель, все равно, больше он не оставлял, это до того, пока появилось общее хозяйство, потом оставили лишь десять, остальные снесли вниз, отдали другим, объединили добровольно, как гласят приказы и постановления, объединили, одним словом, и потому понадобилось сказать несколько слов о его пчелах... И те выходили его встречать, иным жужжанием, печальным, печальным, грустным жужжанием, ибо завелась у них моль, гнилец, мор на них напал, с девяноста до девяти дошли, ноля лишились или в ноль превратились, как бы там ни было, девять ульев все-таки стояли, и оставшиеся без маток или с лжематками пчелы жаловались ему, плакались, роились вокруг его руки, вокруг правой руки роились, целова-



161935340
0122011010333

ли его правую руку. И он ласкал их, да что ласки. Если бы даже он увеличил свою пасеку, не оставили бы ему больше десяти семейств, что же еще он мог, ласкал — и ласкались пчелы, жужжали встревоженно и печально. Для других пчелы просто жужжали, для Зураба они разговаривали. Зураб знал пчелиный язык, понимал печали и радости пчел, не по наитию — слово в слово понимал, он и азбуку составил, и словарь составил пчелиный.

И жужжали пчелы, и догоняли его разговорчивые пчелы, или встречали его, и, оказалось, не оставался Зураб одиноким ни в оврагах, ни в поле, ни в лесу, ни тем более на пасеке, он там бывал и участвовал в совещаниях — слетах на предмет, скажем, когда пчелсамцов изгнать. Ведь и изгнание многого стоило, стоило, но обсуждение было даже потруднее изгнания (попадались же демагоги, какой устраивали переполох, какое бывало возмущение). Рассказы Зураба принимались за легенды, отнюдь не похожие на легенды какого-либо народа, нет, нет, казалось, что он сочинил, ничего Зураб и не сочинял, он только слушал, изучал и рассказывал, он и другое знал, но этого не мог рассказать, опускал голову, закрывал глаза, уходил в себя, углублялся, и разве только там разговаривал, если, бывало, где-то зимовал в лесу, в шалаше зимовал.

Но пока что лето оставалось летом, цвел поздний цветок, жужжала пчела, носилась над цветком, льнула к цветку, ласкалась. Веселье продолжалось, продолжалась пора радости и, конечно, праздничными литаврами они должны были встретить Зураба, но на пасеке ударили в колокол, тревожный гул прокатился над пасекой, возмущенно зажужжали пчелы, носились роём, кружили, метались в ярости, охваченные жаждой мести.

Или что-то там произошло?

Что-то произошло.

Что же?

Или зверь какой, или человек ворвался, что же еще?

Зверь не смог бы открыть дверей.

Дверь была распахнута.

Человек ворвался, о чем речь?!

И Зураб устремился туда.

До этого вырвались пчелы через открытую дверь, вырвались с гневным жужжанием и надеждой — подмога пришла, к павшей крепости подошло подкрепление.

Сквозь пчелиное облако виднелись два человека, отчаянно и беспомощно размахивающие руками. Они пытались отступить, но, защищаясь, нагнули головы, не могли найти дороги, пчелы теснили их к обрыву, они бы сорвались в обрыв. Зураб спас, вывел, увел от разъяренных пчел. Но и эти были разъярены.

Грозилась, угрожали и могли угрожать, — а как же? За плечами у них висели ружья, они были опоясаны патронташами, что же еще было нужно? В одежде цвета хаки они походили на солдат или же на сотрудников какой-то ведомственной охраны, кем бы они ни были, они и на заблудившихся были похожи, и Зураб готов был вывести их на дорогу, может, и поторопить — они распухали у него на глазах, и руки распухали, и лицо перекашивалось, но прежде чем их лица исказились до неузнаваемости, Зураб узнал одного — верзилу с пухлыми и без пчелиных укусов щеками, узнал Бахчо и прикусил губу, и дорогу показывать раздумал, и заговаривать раздумал. Ну а что второй? Зураб будто видел его краем глаза где-то, но вот не узнал, и не стал напрягать память, кем бы он ни был — он сопровождал Бахчо, этот щуплый, низкого роста, мелкий человек, тшедушный и злобный человек; это был тот самый, который спорил с поэтом, кто первым узнает друг друга при встрече, он был другим, что и говорить, веселый, улыбочивый, сладкоречивый, а тут нет, поэт, конечно же, не узнал бы его, ни здесь ни где-нибудь в другом месте, здесь тем более: на глазах раздувалось худосочное лицо и маленький нос, на лбу выросли шишки, росли и росли, набухали, срастались, черт знает, на кого бы он стал походить, кто знает, может, стал бы он похож на черта, — пусть даже так! — Зураб махнул рукой, хотя, может, и не махнул, просто рука невольно сама сработала, и он испугался, что, мол, это со мной, испугался и проследил за рукой, и они тут же взглянули

на нее, потом уставились на него, что, мол, ты хочешь сказать этим.

— Ничего... — произнес или пробормотал Зураб, — пройдет... — это, мол, я имел в виду.

Прошло бы, ясно, а пока отекало лицо, пчелиный яд раздувал плоть и душу, терзал. Бахчо раздуло лишь пол-лица. Один глаз затек совершенно, ухо уже не походило на ухо, и щека не имела ничего общего со щекой, и подбородок тоже, это левая сторона, ну а правая сторона оставалась нетронутой, словно разделили лицо пополам точнейшим образом, пропорционально. Потом, видно, боль несколько поубавилась, они перестали ругаться, вроде и усмехнулись, они бы и смеяться начали, друг над другом смеяться, если бы Зураб не подоспел, подоспел, и они как-то почувствовали себя униженными, им пристало злиться и злиться, но странно действовал пчелиный яд — сначала ожесточал, а потом смягчал.

Унимались постепенно и пчелы, раздраженные пчелы успокаивались, и звук утихал, звук раздражения, взамен нарастало победное жужжание, нарастали призывы снова слетать за нектаром — опасность миновала. Кое-кто все же жужжал из страха, просил подождать, поддерживали его, и среди пчел существовала поддержка. И все-таки нарастало жужжание решительных, жужжание смелых стало преобладать, требовало слетать за нектаром и, словно в доли ударили, литавры, трубы затрубили, и пустились в путь. Так было лучше. Да и им не следовало больше жалить, еще один укус, и они бы не выдержали.

— Для ревматизма полезно, — Бахчо слегка усмехнулся, — так я слышал.

— Это для какого же еще ревматизма? — скорчил гримасу тщедушный и прошипел: — Ничего такого у меня нет.

— Это одичавшие пчелы... — извиняющимся тоном заметил Зураб.

— Да и мы, собственно, что здесь искали, — как бы извинился в свою очередь Бахчо, — все так заросло, разве только оттуда можно взглянуть вниз.

— Это он так устроил... — повысил голос дру ой, сначала слегка повысил.

— Я все это разберу, — успокоил Зураб.

— Пусть остается, может, и другие попробуют, — попытался отшутиться Бахчо.

— Пусть попробуют, хи, хи, хи... — засмеялся или злобно хихикнул его спутник, злость распирала его.

— Никто туда не ходит, — Зураб как бы попытался смягчить его.

— Встреться ты нам, мы бы тоже не вошли, — продолжал оправдываться Бахчо.

— Если вы меня искали... — сказал Зураб и прикусил язык.

— Именно тебя, — съязвил тщедушный.

— И моя очередь подошла? — спросил Зураб.

— Какая очередь? — снова отозвался второй, снял с плеча ружье и прислонил к дереву.

Бахчо усмехнулся и тоже снял ружье, прислонил рядом. Присели на пни, закурили.

— Вот из-за этого, — произнес Зураб, он продолжал стоять и не думал присаживаться, — из-за пчел...

— Что, неприятно им? — как бы с издевкой спросил Бахчо.

— Возмущает, — отчеканил Зураб, — пчелы нежны...

— Ну и пусть, пропади они пропадом, — прошипел второй.

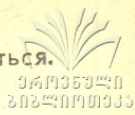
— Ты у своего носа спроси, — Бахчо словно позабыл о Зурабе. — Ворон ворону крикнул: «Ах ты, черномазый!»

И оба засмеялись, но второй перестал смеяться раньше, потянулся было к карману распухшими пальцами, но так и не смог засунуть руку, не пролезли пальцы в карман, не смог достать, что хотел, и выматерился, сплюнул и со слюной на губах выговорил: «Разрешение у нас есть на оленя».

— Есть, — подтвердил Бахчо.

— Наверное, есть, — добавил Зураб, — только я все-таки не соглашусь.

— Вы только дорогу должны показать, — с издевкой проговорил Бахчо, раздутая щека сморщилась, и ему стало больно.



— Не могу.

— Нет? — Бахчо попробовал снова поиздеваться.

И снова заболела у него щека.

— Нет.

— Смотри какой смелый, — разозлился худосочный.

— Пстой, Каро! — Бахчо попридержал его рукой. — Он поведет.

Каро все же достал патрон, подбросил его и поймал, поиграл на ладонях, да, Каро, ведь Бахчо так его назвал, и я так буду его называть, ясно, и ничего другого не требуй от меня, кем он был, откуда взялся или как дорогу сюда проложил, или какой была та дорога, что он проложил, или на что это ему было нужно, достаточно и того, что он тут совершит, и один поступок может показать человека, хотя, бывало, и так, что зло ненароком совершали добрые люди, и потом вся их жизнь превращалась в раскаяние, так же и злые ненароком совершали добро и с ними происходило то же, всю жизнь проводили, сожалея о содеянном, выходит, жизнь — одно сплошное сожаление, лишь поприще добра и зла. Только это относится к будущему разговору, а тут Бахчо сказал, что он, Зураб, их поведет, и Каро подбросил патрон на ладони.

— Нет, я сказал — нет, — проговорил Зураб раздраженно, — они с трудом размножились, хотя какое там размножились, по пальцам можно пересчитать, нет, не годится, не пойдет, нельзя.

— Надо отобрать, — пояснил Бахчо, — говорят, неплоди обуза для стада.

— Я и видеть не видел неплодей.

— Будут такие.

— Ну и пусть себе.

— А если они обуза?

— Стадо само разберется. Какое наше дело!

— В чем разберется?!

— Знают, кто обуза, а кто нет, каждый знает свое, не надо вмешиваться.

— Да-а?!

— Да!

— Надо вмешиваться.

— Что делать, выше себя не прыгнешь.

— Мы отберем неплодей.

— Скажете неплодь, а истребите молодняк.

— Это браконьеры так делают.

— Какая разница, браконьер бумаги не достанет — и все. Не стереть греха бумагой.

— Удивлен и удивляюсь... — Каро выпятил раздутую губу, губу выпятил и с силой швырнул патрон на землю. И Бахчо удивлялся и злился невероятно, перекосилось его лицо, ему непременно надо было сорвать злость на этом чертовом упрямец, только Бахчо вдруг успокоился и притих, не по своей воле, нет, по вине того же пчелиного яда. Каро тоже должен был притихнуть, но нет, его не так одолел, не так на него действовал пчелиный яд, ничто не действует одинаково везде и на всех. Зураб это знал и давно ничему не удивлялся.

Я сказал, ничему не удивлялся.

Он и появлению Цруто не удивился. Видно, тот сопровождал Бахчо, он всегда кого-нибудь да сопровождал, кто бы ни приехал, по какому делу бы ни приехал: проверять ли, изучать ли, на ревизию ли, на помощь ли, и Цруто сопровождал всех безропотно, подобострастно глядел в глаза, пытался уловить малейшее желание гостя, словом подлизывался. Зураб прекрасно его знал. Он как-то и к нему подлизывался. Цруто пробыл с ним два-три года, с тех пор и началось его восхождение, восхождение молодого человека. Его приставили к Зурабу в качестве помощника, потом повысили, перевели в Боржоми заместителем начальника лесничества, он и начальника подмял под себя, быстро подмял, того на участок отослали, этого повысили, сделали начальником. Не зарывался он, нет, что вы!.. И голова у него не закружилась, нет, что вы! Он не был заносчив с младшими, ну а о старших и говорить нечего, ну и при Зурабе не заносился, нет, что вы, наоборот, всем своим видом и поведением подчеркивал, что это Зураб ему дорогу проложил, он его воспитатель, учитель, и на людях это говорил, так представлял его знакомым и незнакомым. Зурабу бывало неприятно, не по себе, но увы, он не противился, не отнекивался, что-то его сдержи-

вало, ласка что ли, он не мог противиться, и сердце его разрывалось, он обеими руками хватался за сердце, словно таким образом мог его унять, хватался и грозился, не позволю, мол, заставлю замолчать, а тот все льстил и льстил, поди заставь замолчать! Так оно и было, так продолжалось по сей день и он не удивился, как я сказал, только огорчился — его упрямство потеряло смысл, — этот их поведет, дорогу проложит, этот Прилипала, как называли за спиной, не смея говорить в лицо.

Смели или нет,—их бы он непременно провел,— конечно же, провел бы, он и дорогу хорошо знал к Харитвалю. Так называлось озеро, глубокое, усталое и ленивое. Зураб устроил сеновалы вокруг Харитвалы и солехранилище, сюда, к озеру Харитвала, спускались олени на водопой; если даже уходили куда-нибудь подальше, все равно возвращались сюда, здесь проводили трубную пору, сюда спускались и лани, радовались и небу, и кусочку неба между горами в образе Харитвалы; здесь сбрасывали они зимнюю шерсть, линяли, расходились и сходились, обретали друг друга, сюда приводил бык свое стадо, непременно приводил на водопой, и туда бы привел Прилипала убийца с документом, и сожалел Зураб, что научил, как добираться до озера, что прибег к его помощи на покосах, когда укладывал сено в стога, и тот сопровождал его сюда в качестве помощника или кого-то в этом роде, пришлось пожалеть и сожалел, он о многом сожалел, мир из частиц сожаления вращался вокруг него, вращался и вертелся, одним сплошным сожалением. Он жалел оленя, как человека, и считал любого охотника человекоубийцей. Ну а Прилипала — тот, конечно, думал иначе, может, и человека не жалел, кто знает, может, он считал человека достойным всех благ и прежде всего наслаждения, и пускай, мол, человек убивает, коли наслаждается убийством, — кто знает, может быть, именно так думал Прилипала или не думал, так или иначе, он хотел доставить им удовольствие (ведь он всем хотел доставлять удовольствие), тем более, если бумага при себе, пусть даже это разрешение на убийство.

И сожалел Зураб, что научил его, как добираться до озера. Зураб сожалел, а тот величал его учителем. Хотя вначале Прилипала изменился в лице: чуть было не повернул обратно, не узнал людей с перекошенными, опухшими лицами, но быстро сообразил, что произошло (ведь он и о пасеке знал, и в пчелиных правах разбирался, ясно), догадался и забеспокоился, запричитал, даже осмелился с упреком взглянуть на Зураба, он и финку вытащил из кармана, раскрыл, приблизился к Бахчо и Каро, полезно, говорит, острие ножа, только уже было поздно, тем не менее он пытался: пытался что-то предпринять, предложить что-то свое; Бахчо поднял руку, отвел нож, сопроводив свой жест неприятной улыбкой, если, конечно, перекосившееся лицо могло улыбаться, Каро тоже взмахнул рукой и неловко взмахнул, попал Прилипале в запястье, попал, и финка мелькнула в воздухе, рассекла подбородок услужливому лесничему и вонзилась острием в траву, кровь выступила на подбородке, естественно, это они ни во что не поставили, ни Бахчо, ни Каро, ни сам пострадавший, Прилипала вытирая платком кровь рассуждал, «ничего, хуже бывает, дело случая»... Скоро он и вовсе позабыл о ране. Позабыли все, вид крови, да еще такой малости, никого уже не волновал. Да и не до этого было Цруто, он расседлал коня, снял с седла хурджин, полный снеди, растелил на траве синюю скатерть, скатерть Арсена, высыпал из хурджина все, что душе угодно. Тем не менее они выказали досаду по поводу отсутствия оленьих шашлыков. «Будут», — успокоил их Цруто. У Зураба снова екнуло сердце, кольнуло, раз, другой, третий, он почувствовал, что ему трудно подняться, но и в этой компании не хотелось сидеть, не хотелось, а подняться не смог, да и не отпустили бы его, вот и не стал он дожидаться, пока начнут уговаривать, отломил кусочек хлеба и вина пригубил, но до сердца не дошло ничего, ничего не доставило удовольствия, кололо и кололо сердце, а порой оно так подпрыгивало, казалось, земля уходила из-под ног и плыла, так казалось, хотя он стоял на своей земле, и все-таки она ушла у него из-под ног, он это чувствовал, в то же время не чувствовал самой земли, опирался на ступню, опирался на пятку, носком ботинка описы-



вал круги, воображаемые круги, словно в воздухе их описывал, словно и руками, и головой — все кружилось, из-за сердца, наверное, кололо сердце, не реставаая, и он чувствовал себя где-то в воздухе.

Те — ничего не чувствовали, сердце у них было в полном порядке, душа без единого пятнышка, и они насыщали плоть, ели торопливо, чавкая, давясь, откашливаясь, пожирали. Говорили мало, не очень утруждали себя тостами, разве что порой вырывалась угроза, напраслина в чей-нибудь адрес, но как-то так, будто они провинившемуся добра желали, угрожали с улыбкой. Бахчо сиял, все его лицо превратилось в одну сплошную улыбку. Каро щелкал зубами, словно и виновного вместе с едой пожирал. Прилипала, тот, ясное дело, поддерживал, поддакивал эдаким, примерно, манером: «Вы только угощайтесь, дорогие, угощайтесь, только не скучайте, ради бога, что там олений шашлык, будет вам и птичье молоко, мы уж с Зурабом постараемся»; «Молоком ты своих детей пичкай», — сиял Бахчо; «Птичье или орлиное, молоко — тебе, а шашлыки нам», — встревал Каро; «Шашлыки должны быть из филе, из филе!» — живо поддакивал Прилипала и закатывал глаза, словно предвкушая блаженство. Надо было выдержать, и Зураб терпел, но иссякало терпение, сидеть становилось невмочь, земля уходила из-под ног, но пень, он не ускользал, он лежал, пень, и Зураб летел за ним, летел бестолково и бесконечно, никакой иной планеты не достигал, своей орбиты не очерчивал в полете, ни с ее апогеем, ни с ее перигеем не очерчивал и не очертил бы никогда, стоял и стоял на перигее, стоял и... и доносилось до него откуда-то, из другой галактики: «И птичье молоко... молоко твоим детям... оленьи шашлыки...» — доносилось и терялось где-то, неведь где, главное, он сам где-то затерялся, затерялся и пусть, пропади пропадом, сказано: где тонко, там и рвется. Отчаявшийся человек терялся в отчаянии, видно, это и есть высшая мера наказания: чувство отчаяния, беспомощности, сознание своего **бессилия; Данте и тот не учел** — какими только способами ни терзали и мучили грешников, а вот чувст-

вом отчаяния, бессилия — нет, не пришло в голову служителям ада, кто знает, может быть, правы были те завоеватели, покорители времен клинописи и Библии, когда одним духом истребляли людей от мала до велика, когда разрушали все на корню, разрушали и истребляли покоренные народы, — кто знает, кто ведает; как бы там ни было, смерть одна, оказывается, она одна и неизбежна; много бывало смертей, без начала и без конца, без апогея и без перигея, таких, что выпала на долю Зураба, которого похитил пень и который и ухватиться за пень не сумел, или который вышвырнут был вместе с пнем, и слушал голоса, они доносились откуда-то, из иных миров: «Оленьи шашлыки... птичье молоко...»

Верно, настал конец — настал и настал, пусть все будет, как должно быть, пусть рвется там, где тонко.

Только что-то или кто-то воспротивился, не сердце, конечно, сердце уже потеряло способность противиться — кто-то незримый, неведомый воспротивился, наверное, тоже с иной планеты. «Как бы ни было, — думал Зураб, — был у тебя свой апогей, зал был твоим апогеем, ничего не поделаешь, если этого тебе кажется мало, одним перепадает больше, другим — меньше, апогей есть апогей, апогей есть жизнь, будь она малой или великой, ты жил, испытывал радость или горе, чувствовал себя здоровым или больным. Ты жил... Может, — подумал Зураб, — сердце снова воспротивится, соберется с силами, наберется сил и опустит его на землю, ему не нужно более ни апогея, ни перигея, только бы почувствовать землю, пусть даже сидя на пне, пусть на пне, только земли коснуться ногами». И уже не с другой планеты, а где-то рядом говорят: «Далеко идти не придется, до Харитвалы»... — маячит голова Бахчо, раздутая голова с раздутым лицом, и лицо Каро маячит, блестит круглая голова, и лицо Цруто, круглое, маленькое, лицо без пчелиных укусов так и сияет, так и блестит; они сидят у той же синей скатерти, только теперь вповалку, пни выброшены или выскользнули из-под них, ушли, улетели с Зурабом, и раз он вернулся, так и они рухнут на землю, рухнут и поднимут пыль, извивающуюся, неумемную, беспокойную пыль.

И не хватался Зураб более за сердце, лишил его да-
же этой помощи, пусть рвется к черту, где тонко.

Узка была тропинка на Харитвалу, что твоя нить.
Все уже и уже...

И тропинкой-то не назовешь, а если и назовешь, так звериной. Они шли один за другим, след в след, чтобы не оступиться, не подмять траву, молодую ветку или поросль, Цруто их столькому не учил, конечно, он только сказал, что тропа эта оленья, они ходят по ней, останавливаются на время, медленно поднимаются вверх, медленно останавливаются и так же медленно спускаются вниз; «Здесь кругом лес, вы сами видите, — сказал Цруто, — там, где они останавливаются, голо, на то, место мы и нацелены, только надо пробраться, дойти, оттуда и озеро видно как на ладони, и места отдыха замечательные. Там и подстережем оленей». Сказано — сделано, однако без того, особого, охотничьего волнения или азарта, они просто пришли, зарядили винтовки, повалились на землю, рядом с заряженными винтовками повалились и захрапели, сытые, усталые. Стадо вполне могло спуститься, напиться, передохнуть и уйти обратно, так и не узнав, что пуля ожидала кого-то из их семейства, и эти не узнали бы, что олени ушли от пули. Случалось, кровные, злейшие враги расходились, так и не узнав об этом. Тут к кровным врагам нельзя было отнести никого, ни оленей, понятно, и ни этих спящих охотников, лежали и спали, кровный враг — тот не заснет, бодрствует кровный враг. Лес молчал, лес затаил дыхание, малейший шорох можно услышать, но не было шороха, словно природа берегла сон усталых людей, и противоположный берег точно вымер, хотя ветерок гулял над озером, он дул со стороны охотников, отсюда, с этого берега, начинали колебаться воды озера, слегка колебаться, мелкими волнышками наталкивались на противоположный берег и бежали обратно, сперва в тени колебались воды озера, потом на солнце переливались тысячи красок и все бесшумно-бесшумно. Все же проснулись, проснулись внезапно и одновременно, словно учуяли запах зверя или же насытились сном и отдыхом, как бы там ни было,

внезапно проснулись и так же внезапно и одновременно их взгляды устремились к цели: олень с ветвистыми рогами стоял на зеленой поляне, солнце сверкало на лбу оленя, и на копытах его сверкало солнце, в глазах были тени, стрелы из теней направлены были на людей. Стоял олень, гордый и настороженный, и вдруг словно почувствовал незримого врага, почувствовал, обернулся к стаду и протрубил, предвещая опасность и веля отступить. Каро вмиг взялся за винтовку...

— Пойдите! — предупредил Цруто шепотом.

— Достану.

— Кто знает...

— Я знаю.

— Береженого бог бережет. Пускай уж спустятся, — отрезал Бахчо.

— Должны спуститься, — поддержал Цруто.

— А если не спустятся? — спросил Каро, спросил, как пригрозил.

— Ваш топор — головушка моя, — подобострастно и обнадеживающе улыбнулся Прилипала, глядя Каро в глаза. Спустились, конечно, бык почти уже спустился, за ним на почтительном расстоянии спустились теперь остальные — самки, самцы, лани, оленята, появлялись, задерживались на миг, гордо поднимали головы, словно красовались перед миром и шли вниз, изгибаясь, покачиваясь, высоко подняв горделивую голову. Каро не терпелось нажать на спуск, Бахчо останавливал — пусть, мол, все спустятся, не торопись, пусть уж все спустятся. Видно, спустились бы все к берегу озера или, может, к тому водопаду, что образовывал водоем, окружили бы и припали к воде, припали бы страстно, самозабвенно — жгучим было солнце, неподвижен был лес, припали бы олени самозабвенно к холодной воде, они утолили бы жажду, эти выбрали бы жертву, успели бы, успели... выбрали самого стройного, того, с раскидистыми рогами прежде всего, конечно же, прежде всего, все трое на него бы набросились, все трое своим его объявили, ну а рога все-таки Бахчо уступили, кроме того, что он был старше возрастом и должностью, еще и потому, и тем более потому, что эту прогулку он придумал, и разрешение на его имя

было выдано, уступили бы, уступили бы рога быка, лишь бы убили его, свалили, повергли... его первым, лучшего, избранного, а потом остальных, одного другим, лишь бы повергли первого, лишь бы повергли; олени появлялись и спускались вниз, появлялись и любовались собой, спускались и неслись, похожие на изломы молнии...

Спустились бы, что и говорить.

Всегда спускались, с какой стати изменили бы многолетней привычке, какого черта!

Ан вот и не спустились, зря подложил Цруто свою головушку под топор.

Жаль, Каро не захватил топора, жаль, жаль, не спустились олени, словом.

Вдруг кто-то гаркнул или кто-то завыл, внезапно гаркнул, внезапно завыл, лес отозвался в полный голос, загудел, зашумел, разошелся, зафыркал, занялся в кашле, загремел громом, и звук вырвался из лесу тем же громовым треском, вырвался и обрушился на лес, на лес противоположного берега, а лес, вроде никто на него и не набрасывался, стоял неподвижно, только гудел, то тут, то там что-то грохало, где-то что-то кружилось, где-то в середине леса, который снаружи оставался по-прежнему спокоен. Там, наверху, уже ничего не было видно, ни жожака, ни самок, ни ланей, и на небе не было ни облачка, хотя небо тут не при чем, и озеро не при чем, оно было по-прежнему безмятежно и спокойно, одно оленье стадо понеслось со всех ног в лес, что-то гналось за ними или кто-то гнался за ними, опередил наших охотников, перехватил добычу. И остались охотнички наши на бобах, все же открыли стрельбу вслепую, авось попадет... Стреляли в лес, в опушку, снова в лес и в долину и заглушали гул леса, крик леса, скрип леса, так внезапно поднявшийся шум леса, непонятный и необъяснимый, стреляли и стреляли, с такой неистовой страстью, с настойчивостью такой, словно попали в окружение, словно решался вопрос жизни и смерти, где жизнь свою, разумеется, они ценили невероятно дорого, да вострепещет пришелец, и удалялся пришелец, если можно было назвать стадо пришельцем, удалялся

Отар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

4. «Литературная Грузия» № 6.

пришелец, сокрушал лес, сокрушал кусты, ломал ветви деревьев, опустившиеся книзу, а лес не чувствовал, даже не замечал его, — бег стада не причинял боли, он чувствовал только пули, они причиняли жгучую боль, падали клочья коры и листья, падали ветки, опалялись кроны, озеро исходило брызгами, мутнело и исходило брызгами, каменный берег метал искры.

Затерялись исполненные жажды, не смогли спуститься и затерялись, бог весть куда, в каком страхе, бог весть, сколько еще предстоит пребывать им так, исполненными жажды и страха.

Эти погнались за ними и сломя шею бросились следом; сначала стреляли, потом бросились вдогонку, стреляли вслепую и вслепую бросились за ними — авось уложит шальная пуля если не ветвистого — хоть лань, преследовали и бежали вокруг леса и водопада, в лесу заблудились: набрали на следы и побежали по следам, и на запах бежали. След запутался, и запах запутался, и охотники сбились со следа, но от погони не отказались, бросились в одиночку кто куда, разминувшись, потеряли друг друга и потеряли надежду, что смогут найти что-либо или даже из леса выбраться. Они кричали, а лес гудел, гудел ельник, голосистый ельник, звучный, гудел, как купол, как купол зурабова зала, что так удивил гостей, видевших великолепные концертные залы чуть ли не всей Европы, Зураб именно отсюда сvez лесоматериал, именно эти ели владели таинством звука, он это понял давно, давно обнаружил — и те хваленые залы и сцены собирались именно из этой ели, именно отсюда вывозили таинственную музыкальную ель. И гудел лес благословенный, гудел голосом неблагодарных, голосом злых и голосом добрых; гудел по-разному, конечно же, по-разному, только вот еще в одном месте сосредотачивал он звуки, и невозможно было разобраться, кто где находится. Но все выбрались. Цруто показал себя молодцом, сначала нашел одного и привел к озеру, потом второго, у водопада собрались все трое, подставили головы под водопад, разгоряченные, раскаленные головы, подставили и даже почувствовали небольшое облегчение, совсем небольшое, тут же опустились на траву обессиленные, словно водопад подмял их под себя.



Как бы там ни было, они все же вернулись, и кое-какой добычей.

Каро набрел на окровавленную шерсть, оленью шерсть, клочок окровавленной оленьей шерсти нашел Каро.

Бахчо обнаружил шапку, пробитую пулей.

Цруто вывел их на дорогу.

Кровь запекалась, склеила шерсть. Молодой была шерсть, молодой. «Лань», — догадался Цруто. Каро пристал в одну душу, требовал разыскать места ночевки оленей. «Не сможешь. Я как свои пять пальцев знаю места, по которым ходили». «Тебе так кажется». «Нет, не кажется, сейчас пойду и вернусь с ланью». «Не ходи». «Нет, пойду». «Ну, и пусть идет», — сказал Бахчо, и Каро перестал рваться, остыл вдруг охотничий пыл. Только сожалел: «Кто знает, может, я перешагнул через него, и как это, ослеп я что ли, обалдел что ли». Но и в этом ничего, ничего особенного, сожаление и только, а вот шапка, откуда она взялась? Бахчо ее нашел, Бахчо вертел ее в руках: шапка из белого войлока, поношенная, пропитанная потом, несколько помятая, пробитая на макушке, от нее пока еще несло гарью, все дело было в шапке: ее хозяин, какой-то охотник или браконьер, испугнул оленью стадо и оставил их с носом, и сам не добился ничего, наверное, не добился, а если добился — показался бы где-нибудь с добычей за спиной, если бы крикнул, — здравствуй, крикнули бы, и он опустил бы добычу — тут и ваша доля, мол, давайте, мол, свежевать, разделим. Будь убитый олень с ветвистыми рогами, рога бы достались Бахчо, филе — всем троим, пусть четверым, это ничего, они бы и костер тут же развели у водопада, развели бы костер из можжевельника, и вертела из ветвей можжевельника выстругали бы, угли от можжевельника придают шашлыку особо приятный привкус — Каро облизнулся. Бахчо улыбался, или, может, просто сияло его лицо, раздулось и сияло.

— Кто знает, может, и он там же валяется?! — неожиданно воскликнул Каро.

— Там же, где и твоя лань? — спросил Бахчо.

— Именно!

— А может, твоя лань — это моя лань?

— Пусть так, — согласился Каро.

— Может, оба его? — Бахчо кивнул головой в сторону Цруто.

— Нет! — разозлился Каро.

— Откуда ты знаешь?

— У меня не такой уж меткий глаз, — прибежал Прилипала.

— А где была цель? — напомнил Бахчо.

— Чутье — тоже цель.

— И чутье у тебя не годится?

— Вроде вас...

— Хи, хи, хи... — хихикнул Бахчо.

— Я, наверное, лучше кого-то, но с вами мне не сравниться, хотя, что это я говорю, кто с вами сравнится! — сказал Прилипала, словно спохватился.

— Жертва вас напугала?

— Нет, нет...

— Только не говори, что жалко стало, — хрипло засмеялся Каро, — и вовремя выстрелить не дал?

А как хорошо стоял олень, олень с ветвистыми рогами и как поднимались по одному, подняв головы, изгибаясь, олени — досада ослепила Каро. Он жаждал крови и не мог утолить жажду, лишь запекшуюся на шерсти кровь отщипывал, разве что это немного его успокаивало, впрочем, нет, не успокаивало, разъяряло пуще прежнего, все больше и больше. Над озером пролетел гусь, Каро схватил ружье, схватил и бросил — все равно не достать — бросил еще и потому, что испугался — ненароком в Цруто бы не выстрелить — такая возникла жажда крови, бесцельная жажда, возникла злая страсть, и, возможно, он бы утолил ее, убив оленя, утолил бы жажду, лютую, злую, страшную, неутоленную и неугасшую, возможно, но тут Зураб загородил ему дорогу, тут он посоветовал... и Каро подставил голову под водопад, разгоряченную или запутавшуюся в скачущих с пятого на десятое мыслях. Что он мог еще предпринять, силился унять страсть или жажду злую, ненасытную и при этом отнюдь не колебался бы, если бы кто-нибудь предложил ему окрасить озеро кровью, хотя бы кровью Цруто. Потом озеро сомкнулось бы, уже не переливалось бы озеро,

уже никто не смог бы спуститься туда, уже никто не смог бы подняться оттуда, если бы не зарезали козленка с четырьмя ушами, а где он — козленок с четырьмя ушами? Древнее сказанье, сказанье о Иахсари. Кровь смывалась кровью, Каро откуда знать сказанье о Иахсари или о Копале, страсть его породила, страсть и жажда пролить столько крови, сколько было воды хотя бы в озере Харитвала, красивом озере, глубоком, печальном, уставшем от дороги, пройденной и предстоящей, которую надо пройти, встать и идти, идти и идти. Не знал этого Каро, не велика беда, кто знает все на свете? Одни знали то, другие — это, Каро знал кровь, кровавое ремесло знал хорошо, ремесло безошибочное, ремесло незаменимое. И переливалось озеро Харитвала по-прежнему безмятежно, и валялись на траве утомленные охотники, и переливалось озеро Харитвала, словно желало укрыть их.

VIII.

Отдохнули и собрались.

Собрались и отправились в путь.

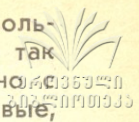
Цруто мнил найти на пастбищах лошадей, нашли, оседлали и уже верхом поехали дальше.

Ехали, ехали, не разомкнулся заколдованный круг, и не могли они выбраться из заколдованного круга;

опять вокруг Зураба ходили и спешили на ниве зурабовой.

Зураб сидел на камне, и перед ним лежал камень, огромный камень, плоский камень, похожий на низкий стол. На камне стояли горшок и миска. В горшке была пахта, миска была влажная, видно, Зураб только-только выпил пахту, вытирал пестрым платком усы и губы. Охотники спешили, он не вышел встречать их, только обвел взглядом свою паству, — стадо, растянувшееся вдоль противоположного склона оврага, загон, хлев, стог сена, обвел взглядом и простился с ними, наверное решил, что отбирают, и попро-

щался без волнения, смиренно, — привык. А вот почему прямо на пасеке не объявили, этого он объяснить не мог, и не особенно утруждал себя. Когда пожелают, тогда и скажут, как пожелают, так и скажут, или вовсе ничего не скажут, выгонят, и конец делу, или моих пастухов прогонят, других приведут и все, как захотят и когда захотят словом, Зураб пристился со своей паствой одним взглядом, одним единственным, едва уловимым вздохом, снова налил в миску пахты, отпил, пил и смотрел краем глаза из-под запрокинутой миски, смотрел, пока они не приблизились: потом поставил миску, посмотрел на гостей: пожалуйста, мол, не изволите ли попробовать пахты «Охотно,—ответили,—охотно», и уселись вокруг камня, похожего на низкий столик, присели на камни под буковым деревом, — я забыл про дерево, но ничего — значит, присели под засыхающим буковым деревом. Сухие мелкие веточки падали вниз, был бы ветер — попадали бы ветки, но не было ветра, время от времени падали хворостинки, хворостинка упала в горшок и скользнула в миску с пахтой. Каро брезгливо ее отодвинул... Рука с длинными пальцами легла на столик, подобрала миску и исчезла и снова появилась на этот раз с другим горшком, большим, с высоким горлом, в каплях пахты. «Угощайтесь», — раздался голос, похожий скорее на воронье карканье, чем на голос человека, от него становилось жутко, аппетит отбивал начисто, а они ни во что не поставили, придвинули миски и налили себе пахты, налили и жадно припали к мискам, понравилась пахта, прохладная, сытная, вкусная пахта. Понравилась, и еще налили, с жадностью налили, только ели уже без жадности, отпили немного, облизнули губы, — опухшие губы Бахчо, опухшие губы Каро, узкие, в ниточку, губы Прилипалы (бесплотные, что ли?) — облизнули... Березки-руки почти достигали земли, кончиками пальцев касались травы, согнутые ноги ступали нетвердо, заплетались огромный зад, горб тоже огромный, и голова огромная... Зураб и не замечал его, уже давно не замечал. У Цруто пришелец вызывал улыбку. А Бахчо? А Каро? Они уже не смогли облизнуть губ, уже и пахты не могли отпить, и рот раскрыть не могли, и глаза выпучить не могли, — распухли так, но все же умудрились



каким-то образом выразить удивление или недовольство. Каро и не заметил, что шел человек. И руки так двигались, и миски и банка так опустились, словно небес их подали, а пальцы были, пожалуй, красивые, длинные, изящные, как будто и привлекательные. Не ожидал, конечно же, и пахту не ожидал, приятно было в жару, почти унялось кровожадное сердце, пусть ненадолго, вовсе ненадолго.

Идет человек, приближается, голова вот-вот отвалится, горб вот-вот отвалится, вот-вот он весь скрутится и распадется на части — это для Каро, а для Бахчо — ничего, смотрит как ни в чем ни бывало.

— Вы опять за свое? — обратился он к Зурабу, словно и впрямь ничего его не смутило.

— Не понял?..

— Объясним.

— Извольте.

— Там пасека, тут ферма, и еще кто знает...

— Что же еще? Ничего не остается сокрытым.

— Достаточно и этого.

— Не говорили, иначе...

— Что иначе?

— Я бы до сих пор отказался.

— Не колеблясь?

— Не колеблясь. А пусть бы и заколебался, ну и что, разве это преступление, когда это считалось преступлением?! Я однажды уже сдал все, что имел, оставил несколько ульев и пару коров, разрешили. Потом расплодился коровы, размножились пчелы... потом уже не запрещали, даже поощряли, приусадебное хозяйство, дескать.

— Знаем...

— Вот и расплодился, размножились...

— И захотелось вам с общим хозяйством посоревноваться.

— Если будет на то ваша воля.

— Посоревнуетесь?

— Чего нет, того...

— А если было бы?!

— Нет, нет, чего нет — того нет.

— Ха, ха, ха... Нет, нет, что было, то сплыло.

Отар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

— Как прикажете, — сказал Зураб так, словно уже отказался от всего, — встанет сейчас, отряхнет подол рубахи, чтобы и крошку хлеба с собой не унести, отряхнет подол и пойдет вниз по спуску, немущий и... беспечный.

— Мы — нет, — сказал Бахчо, — это их дело, — он протянул руку в сторону Цруто и Боржоми.

— Все равно.

— И все-таки я продолжаю, не жалко будет?

— Нет.

— Сказать вам, что лжете?

— Нет! Не стоит. Не сомневайтесь..

— Но ведь это богатство?

— Это ничего.

— Как же ничего?

— Ничего; ничего, когда не имеешь на все это права.

— Трудов все-таки жалко.

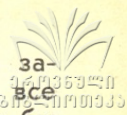
Тут вступил Каро:

— Это чьих же трудов?

В дверях хлева мелькнул горб.

— Видите, оказывается... не будет жаль.

Единственное, о чем он жалел, — это что они его здесь застали и, пожалуй, о своих ответах жалел, беспокоило его, заранее беспокоило, что еще придется отвечать за то, что он скрылся, сердце дало о себе знать, и он скрылся, а тут сердце вернулось на место, а эти сидели злые и требовали ответа на вопрос: почему ушло оленья стадо? — требовали быстрого ответа, хотя несколько мешкали, умышленно мешкали, обхаживали жертву. И упала хворостинка в миску Каро, он выплеснул пахту вместе с хворостинкой, придвинул к себе миску, дотянулся до нового, большого горшка, и снова упала хворостинка, в этот раз побольше, разветвленная хворостинка повисла на краю миски, Каро схватил ее и вышвырнул, в миске осталась цвель и мелкие кусочки коры, он снова наполнил, отпил, крохотная щепочка застряла в зубах, — он промычал, взвизгнул, разжевал ее и выплюнул, выплеснул пахту и заодно отшвырнул миску. Врагу, мол, такого желают, и стоит Каро, скрежещет зубами и разжевывает сначала щепочку, потом разжует, что попадется, изгрызет самого Зураба, изгрызет, растер-



зает и выплюнет; и пожалел Зураб, что они его за-
стали, жалел и уже и не жалел, нет, уже нет, они, все
равно пришли бы сюда не сегодня—завтра, стали бы
требовать объяснений, почему разбежалось стадо, кто
его напугал, куда оно девалось. Те, кто находился бы
здесь, ничего не смогли бы ответить, Зураб все-таки
несколько отвлекал их, только бы выдержать, только бы
не подвело опять сердце, не унесло его, не перебро-
сило в другую галактику, не отобрало этот небольшой
мяч, малюсенький мяч, что зовется Землей, у кото-
рого, как уверяют вверху и внизу, вмятины, и по-
тому он и похож на мяч, и не похож. Лишь бы не
подвело, сердце не подвело, все остальное Зураб
выдержит. Тот несет миску, Каро и не успеет увидеть,
как опустится миска, опустится у его носа, потом паль-
цы заиграют, тут же перед его носом, и Каро про-
следит взглядом за пальцами, и будет смотреть, когда
уйдут и пальцы, и руки, и ноги, когда все уйдет, уй-
дет по частям, разваливаясь постепенно. Каро по-
смотрит вслед, но тут же отвернется и снова вер-
нется к своей миске, новой миске и снова увидит в
ней хворостинку, увидит хворостинку и запрокинет го-
лову, запрокинет и огрызнется на бук, полувисохшее
дерево, и на Зураба, — чего, мол, именно здесь по-
ставили этот, якобы, стол и эти, якобы, стулья.

— Некогда и на него любо было глядеть.

— Хотя бы сухие ветки убрали.

— Он сам от них освободится, вздрогнет разок и
рухнет.

— Топор на то и придуман...

— И пила механическая...

— Только лучше дать им умереть естественной
смертью, — сказал Зураб и снова пожалел, а вдруг
придерутся, пожалел, но они не придрались: человек-
развалина с отеками глазами, вывороченными
слюнявыми губами, с топорщившимися усами, лысой
головой, покрытой на затылке волосами цвета золы или
местами усеянной прыщами, либо высохшими, либо
мокнувшими: правое плечо припущено, скрючилась
высохшая рука, высохла левая нога, и он шел пока-

чивая, размахивая ею, наверное, потому и прозвали его колченогим, наверное, потому крещен он был Петре, отсюда возникло среди дачников до Пьетро, затем Пьетро и сложилось длинное имя, имя или фамилия, или оба вместе, ради забавы, ради потехи, конечно же, яснее ясного. Вот он появился и покорно стоит в дверях, совершенно безобидный, кроткий или укрощенный, ждет приказа, прикажут со скалы прыгнуть — прыгнет, да только не захочешь такой покорности, такой преданности, единственное, что можно захотеть — не видеть его. Бахчо тем не менее хотел его видеть, и Каро хотел видеть, и Цруто. Хотели и увидели и, не медля, один за другим очередью автомата выстрелили в упор:

— Шапка!

— Шапка!

— Шапка! Где твоя шапка?!

Петре и глазом не моргнув, занес руку за спину, медленно запустил, медленно вытащил шапку из белого войлока, осетинскую шапку, повертел на пальцах, подбросил, нахлобучил на голову, надвинул по самый нос, спрятал лицо, лицо неприятное, если не жуткое, и продолжал стоять, укрывшись, спрятавшись, затаившись, но по-прежнему была видна высохшая рука и скрюченная нога, он не мог прикрыть их осетинской шапкой, хотя хотел целиком в ней спрятаться или исчезнуть так же быстро, как возник, но он ждал, все еще ждал, чего еще пожелают — приказали спрятать лицо в шапку — выполнил и ждал других распоряжений, бывало, шапка соскальзывала с его головы — тотчас же приказывали с еще большим отвращением, дрожью в голосе надеть; он надевал, конечно, они отводили глаза, теперь шапка была на нем, и ему приказывали скрыться, и он ушел туда, откуда явился, откуда возник, там и исчез и заколыхался в дверном проеме снова без шапки. «Закройте дверь!» — крикнул Каро. Закрыли тотчас же, и тем не менее он не исчез, он был нарисован на дверях все так же без шапки, и лицо его было еще четче, еще ужаснее. Каро закрыл глаза: «Теперь уже не останется от меня это чудище». «Привыкнешь», — утешил Бахчо и обернулся к Зурабу:

— Каким образом?

— Что?

— Увел стадо у нас из-под самого носа.

— Каким образом?!

— Вот именно это мы и хотели узнать.

— Разве ускользнет от вас что-нибудь.

— Да... ты взял верх и можешь усмехаться на сей раз.

— Нет.

— А одного мы все-таки убили, — Каро принялся теребить окровавленный клоч оленьей шерсти.

— Кто знает, может, двух, трех, кто знает, не могли же вы обнаружить шерсть каждого убитого оленя, — с досадой выговорил Зураб, вздохнул с досадой.

— Надо было преследовать, — с досадой же сказал Каро, — кто знает в самом деле?

— Этот знает, он не ошибется в счете, — заключил Бахчо.

— В самом деле знать будете?

— Более или менее.

— Точно! — отрезал Бахчо.

— Пересчитывать будете? — искренне спросил Каро.

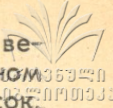
— Как вам сказать...

— В небе птицы не пролетят им незамеченные, по земле муравьи не проползут, как говорится в сказках. вот и ты, наверное, такой же.

— Как вам сказать.

Зураб ответил жестко, неприязненно, нахмутив брови, Каро приготовился было, но не смог по-своему презрительно хихикнуть, только угрожающе прикусил губу. Зураб это заметил и провел ладонью по глазам. — не надо, мол, все замечать; на противоположной стороне стадо коров, тропинка и люди вдоль стада, чуть сгорбившиеся под вещмешками, — вот их замечать можно, смотри, разглядывай, сколько угодно. Так бывает всегда летом, чуть ли не каждый день идут большими или маленькими группами, парами или в одиночку: люди покидают курорты и дачи и направляются в Цхрацкаро; разбивают дорогой палатки или ночуют у пастухов, продлевают путь до времени рождения солнца, от заката до восхода растягивают путь

и снова ждут, ждут не торопясь; некоторые спешат, нагонят тех, кто ушел раньше, рвутся вперед, спешат, запыхавшись, дух перевести невмочь, спешат — страсть опередить всех владеет ими, новички, вероятно, из тех, кто еще не поднимался, кто впервые должен увидеть, кто еще не испытал гору и кого гора еще не испытала (испытает непременно), у кого пока не подкашивались ноги (подкосятся непременно), если даже всего лишь шага не будет хватать, не смогут сделать тот шаг, не смогут узреть того, к чему стремились, красоте не смогут узреть, красоту рождения солнца — подкрадется и обрушится на голову солнце; испытанные не спешат, понятно не спешат, как древние молеельщики, древние солнцепоклонники, радуются полуденному солнцу, солнцу утреннему, вечернему солнцу, радуются и ждут, ликуют и приближаются к колыбели солнца, приближаются с благоговением, ведут и жертвенную овцу, конечно, и идут шагом жертвенной овцы, идут и поднимутся на Цхрацкаройский хребет или остановятся чуть ниже, либо соберутся в пещере, это все равно, слишком смело не следует являться на святое место; ночь заночуют непременно, разожгут костер, чтобы была светла ночь до большого света истинного, чтобы было тепло до большого, испытанного тепла, разожгут костер и принесут овцу в жертву большому свету и будут ждать с рогами и бараньими шашлыками, ждать наступления доброго утра, безоблачного, чистого утра и, чтобы не омрачать восход солнца, не осквернить его, мечтают, и получается молитва, древняя молитва, давным-давно позабытая и выброшенная, как будто она звучит, чтобы не нашлась тень на красоту, не оказалось пустым столь долгое ожидание; вот так вот мечтают — или молятся, и исполнится или... не исполнится — облака затянут небо, разгуляется ненастье, не сбудется в ненастную погоду заветное желание, загаданное желание, бывают на Цхрацкаро непогодные дни, бывают и просто облачные, и хорошие дни бывают, и хорошие утра, когда в небе ни облака, рассвет наступает величественный, поразительный, невозможно определить, какой именно — всякий раз он различен, к тому же для одних паломников — один, для других, чуть запоздавших, уже другой. Своеобразен цхрацкаройский рассвет, своеобразен



и величествен во всех отношениях, прекрасна и величественна жизнь в празднике красок, в истинном празднике красок. И если дотянешься до тех красок, если чуть выступишь вперед и протянешь руки, кажется, словно поднимаешь солнце, ты помогаешь, принимаешь дитя новорожденное, и омоешь его и очистишь, и сам очищаешься вместе с солнцем, очищаешься в сверкании великого множества красок, чистейших красок, красок прекрасных.

Зачаруются, одурманятся и по возвращении кладут клятву непременно вернуться обратно.

И здесь слышится, здесь, под буквым деревом: «И поднимемся!..» Эта обычно торжественная клятва на сей раз звучала угрозой.

— И поднимемся, — процедил Каро, когда Бахчо сказал, что пора уходить, — и на Цхрацкаро поднимемся.

— Воля ваша, — Зураб то ли согласился, то ли предложил уходить побыстрее.

— И оленей уже никто не вспугнет, — то ли спросил, то ли приказал Бахчо.

— Как вам сказать, — кашлянул Зураб, — олень, он лесной, повадки лесных одному лесу известны.

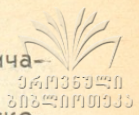
С тем и расстались, ушли. Ушел и Зураб.

Кровавым сгустком опускалось солнце, оставляя на дорогах кровавый отблеск. Хорош будет цхрацкаройский рассвет, чистый, безоблачный, хорошим будет восход солнца. Закат его был плох, недобрый светом лежит на дорогах кровавый отблеск. Здесь всегда так было, видели и плохое, и хорошее, привыкли, не обращали внимания. И гости появлялись, сменяя друг друга: злые гости — добрые гости, привыкли и к ним, выдастся погода хорошей, люди настраиваются на ее лад, ничему не удивляются, ничто их не тревожит, ничего странного или необычного не ждут, так было, так монотонно, бесцветно текла жизнь под старым буком. Вот они идут по тропинкам с гомоном, шумом, в их сторону и не взглянут, торопятся увидеть рождение солнца: бывало захаживали, сбивались с пути, а то и умышленно заходили любители восхода солнца, по-

клонники солнца: выпивали пахту и снова пускались в путь по верхней дороге или нижней. Наша тройка пошла по нижней; пригрозили, что вернутся, и ушли, пус-
кай грозятся. Он долго смотрел на кровавый след, кровавый след солнца, на кровавые облака, — тот самый, которого звали Петре или просто — «Эй». Он смотрел на дорогу или след только что ушедших, кровавый след солнца. — Почему, зачем? Это все равно надоели ему загон, хлев, скотина, надоело смотреть, как Талала доит коров, процеживает молоко, кипятит или как заквашивает, выделяет сыр, взбивает масло, надоело все к чертям собачьим, не хотелось оставаться здесь дольше, а чего хотелось, трудно было понять.

Как бы там ни было, Дон Педро повалился на тахту под навесом, завернулся с головой в бурку и лег, ни дать — ни взять пень, такой же, что во множестве валялись вокруг, легко было спутать, но Талала отличала его от пней, подошла и под села к нему, конечно же, после того, как покончила с делами, прибрала, помыла руки, вымазанные молоком, поправила волосы и сняла платье, под села и попыталась высвободить полу бурки, не смогла, Петре так плотно завернулся, выпростать бурку ни в середине, ни у головы, ни у ног не было никакой возможности; она ткнула его рукой — никакого движения, она взвизгнула, истошно завопила и навалилась на него сверху, накрыла сверху собой и замерла, замерла, потом завывала, заскулила, принялась бить кулаками неподвижный чурбак, снова схватилась за бурку — тщетно, тогда она набросилась на тахту, пытаясь сдвинуть ее с места, и опять впустую, убежала, притащила кол, подложила под тахту, подняла с ахами да охами, подняла — и соскользнул пень, соскользнул и упал. Раскрылась бурка, однако он тотчас завернулся пуще прежнего, свернулся в клубок, что твой еж, она хотела помешать, но было уже поздно, и Талала замахнулась колом, пожалела, снова упала на него и начала плакать, плакала, причитала и скулила, расковыривала ногтями землю, расковыривала — и унялась: пень есть пень, ничего не поделаешь.

Ночь была ясная, спокойная, тихая, невозмутимая, великолепный обещался рассвет, рождение солнца,



солнца Цхрацкаро, и тот, кто увидел бы его, причастился бы к красоте.

Ну и что с того, если эта скулила и землю расковыривала ногтями, что с того!

IX.

Да!..

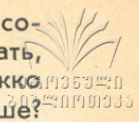
Утро рассвело и впрямь прекрасное, и жизнь над обрывом вернулась в свое русло, предалась своему течению: пора было ехать на базар и поехали — Петре уже не ленился, не упрямылся, без лишних слов и напоминаний впряг лошадь в арбу, расставил банки, молочные бидоны, горшки, миски для сливочного масла, сел на облучок и стал ждать, когда изволит появиться Талала, разодетая, разнаряженная, в синем с голубыми горошинами платке, в синей же с цветочками блузке и в черной, длинной юбке, широкой, просторной до того, словно это была накидка для чучела, а не юбка. Он сидел бы на облучке, не оборачиваясь, не оглядываясь; натянется сбруя, напряжется лошадь — он и поймет, что Талала уселась, поймет и причмокнет, хотя лошадь уже и сама знала — пора трогаться, идти и идти бодрым шагом до Квацихе, потом свистнет прут, и надо переходить на трусцу и галопом ворваться в Квацихе, с шумом, грохотом — и внезапно остановиться, именно внезапно, чтобы бидоны столкнулись друг с другом, чтобы вскрикнула Талала. Словом, и лошадь знала свое дело и Талала. Она начинала разгружать арбу, перекладывала посуду на прилавок, надевала белоснежный халат и ждала. Петре между тем распрягал лошадь, откатывал арбу в сторону, вскакивал в седло, вскакивая, как-то особенно, по-своему, заносил искривленную ногу и, словно пружина, взлетал на лошадь, взлетал и — поминай как звали!..

Дачники узнавали громыхание, прерывающее сладкий утренний сон.

Талала недолго ждала покупателей. Первыми приходили два старика, женщина и мужчина, Талала замечала их еще на дороге к базару и махала рукой, они

махали в ответ и семенили вслед за обогнавшей их арбой, оступались, хватали друг друга под руки, если опережал один на шаг или полшага, второй ждал, пока тот догонит. Они непременно хотели первыми налить молоко в свою посуду. Они любили сливки и пенку, и Талала не размешивала молока, пока не наливала им — любили, и пусть себе наслаждаются на старости лет, получают удовольствие; Талала наливала им молоко в кастрюлю с длинной рукояткой, вроде ковша. Они не торопились обратно, в который уже раз заводили разговор, когда она может их посетить, просто так в гости прийти, поболтать, заодно подлечить зубы, ей необходимо срочно подлечить зубы, непременно, ведь она зубной врач, а ее муж зубной техник, так и состарились, она — врачом, он — техником; уже не практикуют, конечно, здесь, во всяком случае, — «грешно работать, когда приехал отдыхать», но Талале они сделают исключение — «да, мы здесь отдыхаем, но для вас, боже мой, боже мой, для вас сил не пожалеем, такие вам выточу зубы, собственным предпочтете», — хвастался муж-техник, а у самого протез выпадал изо рта, и приходилось то и дело водворять его на место, старик хитрил, делал вид, что поглаживает усы, его жена между тем продолжала очаровывать Талалу, которая, впрочем, не отказывалась, ссылаясь, однако, на крайнюю занятость (она говорила, жеманно поджимая пухлые губы, старалась не обнажать сломанного верхнего зуба). «Причем тут дела, время, — сердился старичок, — зуб это все, от зуба жизнь. Зуб и жизнь суть синонимы». Он сердито доказывал это отнюдь не одной Талале, нет, буквально каждому, кто приходил за продуктами. Начинал разговор с Талалой и постепенно переходил к другим, его интересовало состояние полости их ртов, расположение зубов, состояние зубов, ему это было необходимо, чтобы распознать характер — ведь и характер зависит от зубов, и злобный и добрый нрав — от зубов, и мудрость и безумие — от зубов, от расположения и величины зубов, от угла наклона, рода болезни или здоровья. «Мне уж лучше знать, — вставляла жена, — я внутри копошусь, что разливательная ложка; от меня ничего не ускользнет».

Гульчину старик встречал с упреком, — Гульчина не жаловалась на зубы, и тем не менее он доказывал,



что ей надо заранее о них позаботиться. Гульчина со-
глашалась. «Непременно». «Значит, не надо мешкать,
пойдемте с нами». «Я и не мешкаю, только немножко
подождите, мед хочу купить. Почему меда нет больше?
Не привозите?» — упрекала Гульчина Талалу. «Весен-
ний кончился, а летний еще не доставали». «Доставай-
те, доставайте, иначе к другим пойду»... — смеялась
Гульчина, улыбалась Талале, и врачу улыбалась, стари-
ку-технику, сверкала ослепительно белыми зубами, сия-
ла под лучами утреннего солнца.

И дети бежали под лучами утреннего солнца, ху-
дющие девочки бежали сломя шею: мать впервые по-
слала их за покупками. «Которая Талала? Мы молоко
хотим... Которая Талала?» Старичок-техник кивнул го-
ловой в сторону Талалы и продолжил свою речь о зу-
бах, обращаясь ко всем и ни к кому...

«И мои неурядицы от зубов?— хихикала Зизила. —
И ко мне, пожалуйста, приходите, жду вас, молоко от-
несу и буду вас ждать».

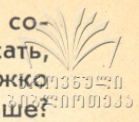
И хихикала... И хихикала...

Она всегда появлялась неожиданно, сбивала с тол-
ку, ошеломляла, кого бы то ни было заставляла обо-
рвать разговор и хихикала. Ее голову венчал веночек из
еловых шишек, в длинные распущенные или собранные
в косу волосы до самой земли вплетены были василь-
ки; порой она собирала волосы на затылке узлом и
надевала венец из еловых шишек, все ее украшения
собраны были из еловых шишек: серьги, ожерелье, по-
яс. И в этом наряде она возникала неожиданно, с ли-
цом, густо набеленным и нарумяненным, губами, пы-
лающими алым цветом, подведенные синей тушью бро-
ви и ресницы придавали глазам томное выражение, за-
вершала портрет черная родинка, большая, как у кин-
то с Шайтан-базара (так они выглядели, кинто, на фо-
тографиях и картинах из жизни старого Тбилиси). Зизи-
ла переняла, наклеила на левую часть подбородка, по-
рой переклеивала направо, чуть выше, чуть ниже, сло-
вом, кокетничала.

— От зубов это все, от зубов, — твердил стари-
чок — зубной техник.

махали в ответ и семенили вслед за обогнавшей их арбой, оступались, хватали друг друга под руки, если опережал один на шаг или полшага, второй ждал, пока тот догонит. Они непременно хотели первыми налить молоко в свою посуду. Они любили сливки и пенку, и Талала не размешивала молока, пока не наливала им — любили, и пусть себе наслаждаются на старости лет, получают удовольствие; Талала наливала им молоко в кастрюлю с длинной рукояткой, вроде ковша. Они не торопились обратно, в который уже раз заводили разговор, когда она может их посетить, просто так в гости прийти, поболтать, заодно подлечить зубы, ей необходимо срочно подлечить зубы, непременно, ведь она зубной врач, а ее муж зубной техник, так и состарились, она — врачом, он — техником; уже не практикуют, конечно, здесь, во всяком случае, — «грешно работать, когда приехал отдыхать», но Талале они сделают исключение — «да, мы здесь отдыхаем, но для вас, боже мой, боже мой, для вас сил не пожалеем, такие вам выточу зубы, собственным предпочтете», — хвастался муж-техник, а у самого протез выпадал изо рта, и приходилось то и дело водворять его на место, старик хитрил, делал вид, что поглаживает усы, его жена между тем продолжала очаровывать Талалу, которая, впрочем, не отказывалась, ссылаясь, однако, на крайнюю занятость (она говорила, жеманно поджимая пухлые губы, старалась не обнажать сломанного верхнего зуба). «Причем тут дела, время, — сердился старичок, — зуб это все, от зуба жизнь. Зуб и жизнь суть синонимы». Он сердито доказывал это отнюдь не одной Талале, нет, буквально каждому, кто приходил за продуктами. Начинал разговор с Талалой и постепенно переходил к другим, его интересовало состояние полости их ртов, расположение зубов, состояние зубов, ему это было необходимо, чтобы распознать характер — ведь и характер зависит от зубов, и злобный и добрый нрав — от зубов, и мудрость и безумие — от зубов, от расположения и величины зубов, от угла наклона, рода болезни или здоровья. «Мне уж лучше знать, — вставляла жена, — я внутри копошусь, что разливательная ложка; от меня ничего не ускользнет».

Гульчину старик встречал с упреком, — Гульчина не жаловалась на зубы, и тем не менее он доказывал



что ей надо заранее о них позаботиться. Гульчина соглашалась. «Непременно». «Значит, не надо мешкать, пойдемте с нами». «Я и не мешкаю, только немножко подождите, мед хочу купить. Почему меда нет больше? Не привозите?» — упрекала Гульчина Талалу. «Весенний кончился, а летний еще не доставали». «Доставайте, доставайте, иначе к другим пойду»... — смеялась Гульчина, улыбалась Талале, и врачу улыбалась, старику-технику, сверкала ослепительно белыми зубами, сияла под лучами утреннего солнца.

И дети бежали под лучами утреннего солнца, худющие девочки бежали сломя шею: мать впервые послала их за покупками. «Которая Талала? Мы молоко хотим... Которая Талала?» Старичок-техник кивнул головой в сторону Талалы и продолжил свою речь о зубах, обращаясь ко всем и ни к кому...

«И мои неурядицы от зубов?—хихикала Зизила. — И ко мне, пожалуйста, приходите, жду вас, молоко отнесу и буду вас ждать».

И хихикала... И хихикала...
Она всегда появлялась неожиданно, сбивала с толку, ошеломляла, кого бы то ни было заставляла оборвать разговор и хихикала. Ее голову венчал веночек из еловых шишек, в длинные распущенные или собранные в косу волосы до самой земли вплетены были васильки; порой она собирала волосы на затылке узлом и надевала венец из еловых шишек, все ее украшения собраны были из еловых шишек: серьги, ожерелье, пояс. И в этом наряде она возникала неожиданно, с лицом, густо набеленным и нарумяненным, губами, пылающими алым цветом, подведенные синей тушью брови и ресницы придавали глазам томное выражение, завершала портрет черная родинка, большая, как у кинто с Шайтан-базара (так они выглядели, кинто, на фотографиях и картинах из жизни старого Тбилиси). Зизила переняла, наклеила на левую часть подбородка, порой переклеивала направо, чуть выше, чуть ниже, словом, кокетничала.

— От зубов это все, от зубов, — твердил старичок — зубной техник.

Отар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

«Буду ждать, значит».

«Не вчера ли протез подобрали?»

«Проглотила, нечаянно...»

«О, господи, в который раз!»

«Откуда мне знать? Ремесло ваше, расходы ваши сами и считайте».

«Нельзя так относиться к чужому труду, нехорошо!»

«Разве я виновата, я ведь нечаянно...»

«Почему только ты... почему другие случайно не глотают?»

«Я не другие, я — Зизила, а другие — это другие скоро стану женой Цруто, и вы не посмеете так со мной разговаривать, он сперва Зураба выгонит в шею, а потом свадьбу справим, все ущелье пригласим, и здесь них и дачников, коров Зураба заколем, квеври Зураба распечатаем, и мед пустим, по водопроводу пустим вино медом разбавим, тамадой тебя изберу, ей-богу изберу, только ты мне рот в порядок приведи, зубы мне вставь получше, чем у Гульчины, и ничего мне не надо больше, ни о чем больше тебя не прошу, а там веселись вдоволь, пей и нас не обдели, я вина не пью да и тамадой быть не умею, а ты такой красноречивый прямо рожден тамадой».

«О чем ты, о чем?»

«Или не слышишь? Ты не думай, что я, как другие чужое говорят, а за свое выдают. Так и знай, они пройдохи, ну а если тебе слово «пройдоха» не нравится, тогда глупцы. Я разумнее их еще и тем, что знаю, о чем говорю, повторяюсь и, представь себе, знаю, что повторяю, сейчас отнесу молоко, знаю — придешь и красоту на меня наведешь, а иначе... Иначе Цруто от меня откажется, ну и прав будет, смотри, на кого я похожа», — и она раскрыла рот, беззубый рот, повела языком по небу, и небо начало дрожать, чего только не повидал на своем веку старичок — зубной техник, но и он ужаснулся, умолк, посмотрел на Талалу, словно у нее просил помощи.

Талала его пожалела, пожурела Зизилу.

«Ты налей молока, остальное тебя не касается», — хихикает Зизила, на нее сердятся, она громче хихикает, хихикает до бесконечности... «Взвесь мне немного масла, остальное не твое дело, немного сыру, хотя по»



чему немного, всю головку, врачи у меня будут в го-
стях... — хи... хи... хи...»

«Нам некогда».

«А для других когда? Ах так, ну ладно, вот скажу
Цруто: частной, скажу, практикой занимаются».

«Господи, как же это, в какие времена, у кого, раз-
ве мы с тебя что-нибудь брали, разве попрекали?»

«Глотку не затыкали, но с меня довольно молчать».

Дрожь охватила старичка, на Талалу он уже не надеял-
ся, и тут приходила на помощь жена, супруга верная,
спутница жизни самоотверженная, разделяющая все
его радости и горести, приходила на помощь — на-
чинала расхваливать родинку Зизилы, и губы ее алые,
и глаза ее темные, и бусы, и серьги... что там зубы,
говорит, не печалься, такие мы тебе вставим зубы, что
у Цруто глаза на лоб ползут от изумления... от злости
лопнут, только ты, пожалуйста, не глотай их больше».

«Нет, больше не буду до самой брачной ночи», —
и хихикала, хихикала, хихикала...

Звонкий смех перекрыл хихиканье Зизилы, подбе-
жала веселая стая, неугомонная стая Эли: «Хорошо что
вы здесь, мы к вам собираемся, когда пожаловать при-
кажете? О, если бы вы знали, вот тут болит, вот тут,
не прикасайтесь, нет, нет, не дотрагивайтесь». «А у ме-
ня сильнее, вот тут вот». «А у меня и не спрашивайте,
не бывает боли сильнее»... Палец прикладывали, и рты
раскрывали, так изящно, красиво. Старичок кружился,
вертелся, окружала его стая Эли, и вертелся, суетился,
право же не знал, кто прежде всего нуждается в при-
смотре, кому больше невмочь терпеть зубную боль, а
лжебольные все подходили и подходили, и стая Эли,
и вовсе посторонние, даже не из талалиной клиентуры,
на всех должно было хватить старичка-техника, а коли
не хватало, — не хватало, конечно, — он завладевал
кем-нибудь из числа наиболее покорных, остальные по-
ворачивались друг к другу, или начинали торопиться,
или оставались тут же поодаль, в тени елей. Талала не
то что уже не наблюдала и не слушала старичка — вы-
страивались глиняные, алюминиевые, эмалированные
бадьи, кастрюли, горшки, она их наполняла молоком,
клала масло в миски, считала деньги или запоминала;

или даже не запоминала — сам знал бравший в долг, уплатит — не уплатит, Талала напоминать не станет — эта привычка сохранилась за ней с тех времен, когда первым дачникам бесплатно раздавали молоко, сохранилась и сохранялась, как бы там ни было, она быстро кончала торговать — через час-полтора, не больше, покупатели расходились, она собирала свои манатки: горшки, банки, миски, складывала на арбу, и тотчас трусцой подъезжал Петре, спешивался, опускался кривой ногой, приседал, как пружина, приседал и, ой, господи, спаси, казалось, уже не выпрямится, однако выпрямлялся, встряхивал плечами, запрягал лошадь, карабкался на облучок и гнал с тем же грохотом по проселочной дороге, потом ехали шагом — лошадь знала, где как идти, лошадь знала свое дело, и Петре знал, как свои пять пальцев знал свое дело, но в этот раз что-то запаздывал.

И стая Эли пока не разлетелась — спорили под елью, спорили или просто беседовали, как бы там ни было, звонко смеялась стая Эли.

И старичок не уходил. Жена его присоединилась к стае Эли, стоял старичок у арбы — ждал, когда тронется арба, чтобы еще раз крикнуть вдогонку, надо, мол, за зубами присматривать, ибо жизнь — это зубы и ничего больше. Но пока он ждал и ждал, уже в некоторой степени нервничал — обычно все заканчивалось так быстро, а в этот раз...

Солнце подступило к середине базара, пододвинулось к двум прилавкам, собственно, весь базар и состоял из двух прилавков с навесом. Капли молока присохли к ведрам. Кончили торговать и другие молочницы, собрали свои пожитки. Остались лишь горки слив, персиков и дикой груши. Их всегда можно было купить, в любое время дня, и еще подсолнухи — вот вам и весь квацихский рынок.

Не расходилась стая Эли, увлеклись разговорами, беседовали с пылом, позабыли, что еще утро.

А Петре не забывал о своих утренних обязанностях, прискакал, наконец, резко взял повод на себя, лошадь встала на дыбы; он соскочил, торопливо втиснул ее между оглоблями, подобрал подпругу суетливого обычного, вскочил на облучок, но поводья подобрать не сумел, уронил впопыхах шапку, сам очутился на вер-

ху, а шапка слетела на землю, осетинская шапка, большая, по самый нос, осталась на земле, и он перелетел, и впрямь перелетел, такую описал в воздухе дугу вернутой своей ногой, словно не покалеченная нога, крыло орлиное или какой другой птицы, неважно, главное, перелетел и подобрал, — шапку значит, снова сел на облучок, и по старинке покатила арба, развернулась на одном колесе и полетела, чуть не сбив с ног старичка-техника, но старичок и тут не растерялся, зубы, кричит, есть и жизнь. Талала трубкой прикладывала руку к ушам, пожимала плечами — можно ли что-нибудь слышать среди такого грохота, того и гляди оглохнешь. Уж больно сильно громыхала арба. Лошадь знала, знала свое дело, опоздала, и теперь требовалось наверстать, скакала что есть мочи, насколько позволяла арба. Миновали Квацixe, но и дальше продолжала трястись и грохотать арба. «Все внутренности вывернет, проклятая», — жаловалась Талала неизвестно кому, обеими руками держалась за копыла, бадьи и ведра били ее по ногам и бокам, помяли изрядно. «Не гожусь, никуда не гожусь, — жаловалась она и вспоминала старичка — зубного техника, — прав он, старичок, надо присмотреть за собой, жалеть меня некому, один добрый человек нашелся, и надо его слушаться, хватит жертвовать собой ради кого-то, ради неблагодарности жертвовать собой? Человек живет однажды и должен жить своей жизнью, до чужой никому нет дела, никто не ходит в могилу вместе с умершим, а ходит, так зря, покойник покойника не согреет, жизнь не вдохнет покойник в покойника; живой и тот не вдохнет жизни в живого, куда там, живые живых изводят, изведут вконец, дух заставят испустить; одни из вражды, другие — диво, право! — по доброте, от великой преданности, ну и удивляйся, что одни, что другие, испустить дух — значит испустить дух; это и есть жизнь; твоей долей жизни будет та, на какое время ты избежешь и тех и других, меня все изводили, довольно уж, надо бежать, посторониться надо, для себя жить должна, хорошо мне советует зубной техник, правильно, и надо ему поверить, за собой присмотреть, пропади пропадом все и вся, пропади все пропадом... Беда на ме-

ня зарится, пусть на мир свалится, пропади все пропадом».

«Ну смотри», — говорил Петре или бормотал что-то в этом роде.

«Сама знаю, никого не спрашиваю, а тебе лучше было свою лысину не обнажать, или не видел, как онемели эти болтливые женщины, спешили, глаза вылупили, ты не видел, а я видела и, запомни, перестанут у нас покупать; с чего вдруг решил запоздать, с чего решил отличиться, цирк устроил, лошадь на дыбы поднял, аробную лошадь, хотя почему я к тебе пристала, у тебя своя голова на плечах, у меня — своя, к черту все, мне все трын-трава отныне, меня ничего не заботит, только к врачам схожу, знаю, обрадуются, порадуя хотя бы их.»

«Ну, ну, смотри», — то ли подговаривал, то ли отговаривал Петре.

«Я сама знаю и никого не спрашиваю, думаешь, когда эти красотки начинают зубы скалить, они свои скалят зубы, как бы не так, все у них искусственное, носы и те у врачей вытачивают, а... Да что там перечислять, ты только знай, ни одна из них не сможет меня превзойти, только начну к врачам ходить».

«Ну, ну, смотри», — повторял Петре, словно слова разжевывал.

«Никого не спрошу, соберу свои пожитки, брошу все, пусть другая доит коров, пусть другая сбивает, пусть другая таскает, пусть другая продает, а я буду среди них, среди красоток, красоваться буду и звонко смеяться, пусть другая на грохочущей арбе трясется, пусть другая своими словами глухие уши твои прочищает, мне достаточно и четвертушки молока, предостаточно... Просыпаться в полдень буду, вечерами на родник ходить буду, сплетничать буду, как другие.»

«Ну, ну, смотри, смотри».

«И никого спрашивать не буду». И неслась лошадь вскачь, как могла, тоже понимала, что опоздала, скакала, чтобы наверстать потерянное время.

И Петре знал, Пьетро или дон Педро колченогий, знала и Талала.

Но знала или не знала, не суть важно, она чувствовала, что уже без прежнего рвенія будут обступать их дачники Квацixe, всполошилась стая Эли, встрепену-

лись, испугались и другие покупатели, гримаса отращения исказила их красивенькие, нежные лица.

Талала возвела глаза к небу — помилуй, господи и спаси. Один старичок-техник ничего не заметил, собирался прощаться и, конечно же, произнести заключительное слово — он один и остался бы (жена ведь закрыла глаза руками, врач, а глаза руками закрыла). Не нужен был уже квацихский базар, наверное, на другой будут ходить. «А пропади, пропади оно все пропадом, соберу свои пожитки и свою дорогу найду»...

Х.

Потеряет он Талалу, когда и как — об этом после, пока сбылось ее предчувствие, тут и сбылось: Эли и ее стая вылили молоко в речку, выбросили молочники и миски для масла вместе с маслом, отряхнули подошлы и ушли молча, словно обиженные друг на друга, словно рассорившиеся, ну а к Талале никто и близко не подошел; пусть, и Талала не подала виду, показываться в Квацихе не собиралась больше, спустилась бы в Цеми, наведалась в Цагвери, да и вовсе в Боржоми начала бы ездить, и дорожке бы продавала, и с большим количеством людей перезнакомилась, наслышалась бы разных историй, и врачей нашла бы побольше. «Побольше и получше, а то ихние протезы не то, что Зизила, и я случайно проглочу», — думала Талала. Она выбрала Боржоми. Зураб отговаривал, и Петре бормотал что-то неодобрительное, но отныне никто бы не смог ее отговорить, никто не смог бы наложить на ее волю запрет. А Эли если испытывала замешательство, то вовсе не из-за колченогого. Она не могла взять в толк — почему муж столь пренебрежительно к ней отнесся, искала и не находила объяснений. Ни о чем его не спрашивала, и признаться никому не признавалась, вручила себя провидению, осталась наедине со своими запутанными мыслями, не могла прийти ни к какому выводу, кроме того, что супруг хотел вдребезги разбить ее мечту, ее идеал, хотел и разбил, разбил и ту, прошлую, и нынешнюю мечту,

или тень мечты, явление прошлого, обратившегося в мечту, разбил вдребезги, и стояла Эли среди осколков, и окутывал ее тяжелый туман, мгlistый, взбалмученный и скрученный туман давил на сердце, обвивал шею, отрывал ее от земли, но и в небеса не возносил; все растворилось в тумане, даже прекрасный вечер стиха, а прошлое и вовсе спуталось-перепуталось, все погрузилось во мрак, только этот своенравный мальчишка, сын, врывался и орал что есть мочи, требовал накормить его да побыстрее; копия отца, большеголовый, низколобый, с топорщившимися волосами и раздутыми щеками. Вымазанный, исцарапанный, в разодранной одежде, врывался и требовал еды, остальное его не заботило, или не понимал ничего, или не хотел понимать, даже не переодевался, не мыл и не вытирал хотя бы рук, и вытереть не давал, одним духом проглатывал пищу и вылетал обратно, вылетал обратно, вылетал и орал, кого-то заставлял орать, кто-то его самого заставлял орать, он не жаловался однако, сам расправлялся, расправлялся зло, беспощадно и так изо дня в день, бывало, возвращался домой окровавленный, но вот плакать — никогда не плакал, врывался домой, оттирая кровь, требовал быстрее накормить и вылетал с недожеванным куском во рту, чтобы еще кого-то заставить плакать, или чтобы самому брать, кричать, вопить, исцарапаться, быть помятым, разбитым, раненым. Только он у нее остался, больше никого и ничего, разбилась вдребезги мечта, только он у нее остался, маленький грозный повелитель, и она перестала видеть что-либо вокруг себя, все казалось безобразным, как эта грязная, невытая посуда.. Плита начинала коптеть, и кружилась в воздухе копоть, копоть душила Эли и не могла задушить, только ошеломляла, ввергала в шоковое состояние, кое-как она выбиралась из дурмана, приходила в себя, нервно отряхивала одежду, настезь распахивала окна и двери, чтобы проветрить затхлую комнату, и опять же ветер приходил ей на помощь, ее уже и на то не хватало, чтобы подмести, хотя метлой копоть не смогла бы вымести, — опять же ветер! Он уносил копоть, сначала нес вниз, словно стряхнул с гор, потом поднимал кверху и снова вниз, скручивал, перемешивал, взваливал себе на плечи и уносил копоть сердца, но опять на-

чинала коптеть плита — продукт реальности — плита
коптила, коптила, ветер уносил копоть и не мог унес-
ти до конца.



И потянулись безотрадные дни.

Эли уединилась.

Уже не слеталась стая Эли.

Вначале они не понимали, что произошло, потом поняли — прилавок Талалы собирал их, грохот арбы Петре поднимал спозаранку с постелей, вскакивали и шли за грохочущим звуком, перекликались, звали друг друга, спускались по тропинкам, по проселкам, трещали без умолку, звонко смеялись, собирались в стаю, гвалт поднимался, и летела стая на рынок, грохот прекращался, ясно, потом слышался цокот копыт, и странный, уродливый всадник молодцом проносился мимо галдящей стаи — он вел коня галопом, слегка пригнувшись, ястребом смотрел из-под шапки, надвинутой по самые глаза и, отдав коню повод, исчезал, глухой урод и невежда, которого даже вид прекрасных женщин не мог задержать, проносился и исчезал, затихал стук копыт и возникала другая картина, картина рынка: сверкали руки на утреннем солнце, сверкали мокрые от молока руки, и молоко сверкало, словно руки сообщали ему блеск и словно молоко сообщало блеск солнцу — самому солнцу, утреннему солнцу. Руки сообщали сверкание и молоку, и утреннему солнцу, так казалось. И они смотрели на сверкающие руки, светящиеся пальцы, смотрели и вдыхали аромат молока, пьяного от солнца, и уродство как бы исчезало. Поблекли кривые плечи и вдавленная грудь, изломанные, искривленные, разбитые в мелкие дребезги черты, поблекло уродство, поблекло или стерли его лучи утреннего солнца, стерло солнечное молоко, молоко нагревшихся склонов, травы, допяна напоенной солнцем. Смотрели и веселились, веселились и резвились, и это веселье и бодрость сопровождали их весь день. Молоко кипятили с тем же жизнерадостным настроением, кипятили и — убегало молоко, сливки превращались в солнце, в осколки солнца, убегало молоко и сверкало на кухнях дачников. Молоко опять приносили, но приносили другие, только того настроя уже никто не вносил, нет, ни-

кто, верно было нечто, нечто артистическое, нечто привлекательное, некий рубеж между красотой и уродством, рубеж странный, привлекающий и приводящий в ужас, как бы там ни было, квацихский базар обнищал; Эли уединилась, рассеялась стая Эли, — потом они догадались, но что толку — рассеялась так рассеялась.

Жара усиливалась. Замер ельник, сосняк замер, запах ели и сосны разлился окрест, настоялся, разлился, отяжелел измученный жарой лес, отяжелел, отяжелел прогретый воздух, запахло пометом и гнилью, разве что запах арбуза примешивался к нему по воскресеньям, когда мужья прибывали из Тбилиси, нагруженные непременно арбузами, привозили арбузы и в первую руку принимались за арбузы: разрубали, разрезали и так далее. Застаивался в жару и этот запах, замирал. А что мужья? Да ничего, они как ни в чем ни бывало, глубоко вдыхали, свободно вдыхали воздух, несколько не душный после тбилисского пекла, вдыхали, играли с мальчишками в мяч, с девочками «в классы», оживляли скучающих жен, глаз не смыкали ночью, оживляли и ободряли и торопились обратно домой или на работу, бежали на маленькие станции, ждали маленьких поездов, карабкались в маленькие вагоны, карабкались, как великаны, и как великаны, смотрели сверху на остающихся на платформе жен в пестрых одеждах и галдящих детей. И кричал маленький народ, и махали рукой великаны, уже не разбирали, кто кому махал, — пестрела маленькая платформа, удалялась и пестрела. И скрывался поезд, скрывался и кричал, и дымился, дымился ельник, чадил, запах копоти перекрывал запах хвойника, настоявшегося в жару. И шумно смеялись великаны, шумно смеялись довольные и духом и телом, и увозили с собой слова упрека, ревнивые слова, чтобы передать их невнимательным мужьям. И снова все вокруг погружалось в дрему.

И зал был заброшен, словно древний храм, зарос, позабыли о нем дачники и местные жители.

Так оно и должно было случиться — рассеялась стая Эли, другие не стали бы и наведываться, словно и не было того прекрасного вечера — предвестника множества духовных наслаждений. Зал постепенно предавался забвению, как все вообще. Одни мальчиш-

ки наведывались, мучали дверь, царапали стены, пытаясь вскарабкаться по ним и заглянуть в окна, писали на стенах имена, фамилии в паре с девочками, со знаками плюса и равенства, проставляли даты, малевали масляными красками и мелом, и углем, на что еще годился заброшенный храм или дряхлая крепостная стена, вот-вот разрушится, развалится, и никогда не возродится. Да, не много, оказывается, нужно времени, чтобы постареть, если тебя покинули, живая ты тварь или мертвое тело; гроб есть гроб, но и гроб оживает, когда упокоят покойника, а до того он пусть бессодержателен, безжизнен и мертв, мертв гроб без мертвеца... И умер зал, новый, пахнущий деревом, умер или устарел, и детвора издевалась над ним, издевалась — или хотела вдохнуть в него жизнь все новыми и новыми каракулями, именами, плюсами, знаками равенства, со страстью, ясно, неосознанной или едва наметившейся страстью, той, что пока носится по развалинам крепости, по развалинам храмов, по скалам, деревьям, да, и по деревьям носится, растерянная и непонятная, так же перенеслась она и сюда, на запертый зал, перенеслась и осквернила:

— Сожалею! — глубоко вздохнув, проговорила Эли и прибавила: — Вы должны меня простить.

Они встретились случайно. Зураб вышел из леса. Эли из дому. Солнце склонилось, и сверкали каракули на стенах зала, на обработанных, тесанных, очищенных бревнах.

— Вас?

— И меня тоже. Здесь и мой мальчик напроказничал, вот «Гиа», «Гиа», «Гиа»... Боже мой, куда он вскарабкался!

— Да... Вот и «Малыш Бахчо» приписали.

— Это другой почерк.

— Конечно, это противник, соперник, верно.

— От горшка два вершка, а уже соперничать учатся.

— С колыбели, с рождения или, может, еще до рождения... Противника никто не избежит. Так и растут.

— Так и стареют.

— Так и умирают.

— А после? А там?

— «Что будет там, в стране неведомой и темной»...
— усмехнулся Зураб, — я все же думаю, жить было бы легче, когда бы мы уверовали в существование райа.

И сияли испещренные каракулями стены зала и сияли. Ведь и замок мучали, потом бы разбили его, ворвались и разнесли все внутри. Эли стала сторожем, если даже занята была, все равно выкраивала время и шла к залу, ни говорить не приходилось, ни сердиться, проказники пугались и разбегались, благо было где порезвиться, скажем, в лесу или в оврагах и во многих еще местах, не перевелись они, понятно, пускай проказничают там, подальше, подальше. Зал успокоился, успокоилось все вокруг, ну а внутри, среди божественного молчания слышался какой-то шелест, на редкость тихий, на редкость спокойный, доступный только тончайшему слуху, доступный и заставляющий задуматься, о чем шепчет ель, о чем бормочет, о чем рассказывает и что вспоминает ель, звучная, говорящая ель. Стоило послушать ее шепот, шепот, божественный, захватывающий, зачаровывающий. Хотя неприятно это слово или даже страшно: «зачаровывающий», неприятно находиться в плену чар, но ничего не поделаешь — легко покоряются музыке чувствительные люди. И она сидела в зале, входила на цыпочках и присаживалась тут же у дверей, сидела, затаив дыхание, и шорох ее платья, ее осторожные движения, осторожное, почти бесшумное дыхание подхватывались пустым залом, и возникал шелест, шелестели стены, бормотали и снова шелестели, таинственно и захватывающе, словно в ожидании блаженства. Странное сравнение, не правда ли? Странно ожидание блаженства, но Эли думала именно так, и сидела и слушала, сидела и ждала, шелестели своды, купол шелестел и ждал, но чего ждал, ждал этот шелест, похожий на ожидание блаженства, впрочем, она и не знала природу блаженства. Какое оно, блаженство? — Слышала, только слышала или читала? То было что-то вроде извечной, беспредельной мечты, главное — тут к Эли вернулось спокойствие, прошло чувство отращения и прежнее ощущение овладело ею: ощущение красоты. И шелестела звучная ель, что гремела на берегах озера, что вторила звукам выстрелов и гремела, гудела, здесь шелестела отголоском слабого дыхания, шелестела таинственно, наверное, издавала пока еще не разгаданную,

1935040
30220110333

недоступную, нежнейшую и чистейшую мелодию и ждала. Я говорю, ждала блаженства, наверное, это и было постижением, только она не могла понять, не могла осознать сути постигнутого, но приближалась к тому. Сидела и ждала. Иногда Зизила нарушала ее уединение, и Эли казалось, что так лучше, казалось, и она была права, она отрезвлялась, выходила из задумчивости, чтобы снова вернуться к ней с новым чувством, обновленным и оживленным чувством.

Зизила входила, позвякивая, и зал встречал ее мадиновым звоном. Зизила входила с хихиканьем, и зал встречал ее хихиканьем, преображался внезапно, почти полностью преображался, будто уже не вернул бы себе шелеста, блаженного шелеста, но нет, — вернул бы, вернулся бы шелест — ощущение блаженства.

Зизила входила позвякивая, она водрузила на себя венок из протезов, зубных, конечно же, позвякивала ожерельем из протезов, однако вид ее не вызывал у Эли отвращения. Одно только удивление по поводу этих, прямо скажем, не очень-то приятных украшений.

— Меня очаровывает все оригинальное, — отвечала Зизила на вопрос Эли, как это она додумалась навесить такие украшения.

— Это чересчур. Ультра!

— Неужели?! Меня очаровывает ультра!

— Счастливая ты.

— Еще какая! Меня очаровывает сенсация. Решила выйти замуж за Цруто, ведь это будет сенсация, не правда?

— Конечно.

— Могло случиться и так, что я за Зураба вышла бы, в конце концов ведь я тоже должна выйти замуж!... Но Зураб уже не женится, и я опять же Цруто выбрала. Только тот был бы большей сенсацией, не правда?

— Тот?

— Зураб.

— Это чересчур.

— Вот и я говорю, именно «чересчур» меня и

очаровывает. Ну да бог с ним, Цруто — так Цруто
я не передумаю. Только Гульчина мешает.

— Неужели?!

— Мешает.

— Не верю.

— А если это правда?

— Разве Гульчина здесь поселится?

— Разве Цруто здесь останется?

— А чего он желает?

— Тбилиси — столицу, потому и жену прогнал
в большом городе, мол, провинциалку стыдно людям
на глаза показать, не то что в общество, на улицу не
вывести. Об этом все знают, не слыхала?

— Нет.

— Неужели? Хотя чему тут удивляться, затвори-
лась ты и отстала.

— Господи!

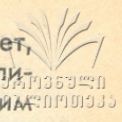
— Ничего, ничего, я сейчас тебе скажу, знаешь
ведь и Гульчина немного провинциалка, ха, ха, ха, ха,
ха... Цруто больше другая подойдет... ха, ха, ха, ха,
ха... Одним словом, зря она нам мешает. — И хи-
хикала, хихикала, и подхватывал, вторил зал, гудел,
подхватывал и купол, оживал, радовался, гремел, ухо-
дила Зизила, удалялась и вновь воцарялся покой,
вновь шепотом звучали слова, если было, что ска-
зать, конечно, и шелестело что-то таинственное, что-
то появлялось или кто-то появлялся, и шелест исче-
зал, исчезал шелест, шелест ожидания блаженства.

А вот и впрямь пришел кто-то!

Пришел:

Открылись двери, и ворвалось солнце. И тень
ворвалась. Окаменело солнце, окаменела тень, —
нет, лучше сказать, одеревенело солнце, одеревене-
ла тень. Эли одеревенела, уставилась на тень,
вздрагнула, напряглась, потупила взор и одеревене-
ла.

Тень шевельнулась, вернее, двинулась, поплыла,
будто пустилась танцевать, танцевать пустилась и по-
неслась по кругу, будто пригласить ее должна, будто
и она приготозилась, будто ждет, и вот он прибли-
жается, вот он благоговейно опускает в поклоне
голову, и она поплывет, пойдет, последует за ним, за
вольным танцем его последует, — конечно же, ко-



нечно... А как же! Нарастает шелест, все нарастает, звучит все звучнее и затихает. Он поднялся, приблизился, не танцуя и не скользя, приблизился робким шагом, склонил голову, здороваясь, склонил голову и ждет ответа, ответа на приветствие и удивлен, что затянулось его ожидание.

— Нарушил покой, — скажет он с досадой.

— Ой, что вы! — она встрепенется, как бы не решил, что это действительно так.

— Если бы я знал.

— Ой, что вы!

— Прошу меня извинить.

— Ой, что вы! — она заметалась, чуть было не столкнулась с ним, так во всяком случае ей казалось, она боялась упустить его, а он не знал, не ведал, стоял склонив голову, слегка отвернувшись, готовый уйти, руки у него были опущены, сильные руки: потом он их поднял, медленно поднял и обхватил ее плечи, плечи Эли, обхватил вдруг, обхватил сильно, словно вот-вот соберет ее в комок и запустит куда-то далеко, но нет, Эли подобрала плечи, приподнялась, поддалась, взглянула на него, взглянула умоляюще и уронила голову ему на грудь, уже не в воображении, но наяву.

И странно загудел купол, загудел и захихикал.

Люстра закачалась, слегка закачалась.

Связка из зубов была подвешена к люстре, ожерелье Зазилы было подвешено к люстре, и виднелось множество зубов, люстра скалила зубы, они сверкали и блестели странным блеском.

XI.

В узкие окна смотрело заходящее солнце, странно смотрело и мерцало странно, вызывая сонмы видений. Он приходил каждый день в одно и то же время — время захода солнца, и всегда одинаково странно смотрело солнце, только уже иные картины рисовали его лучи и на люстре, и над люстрой, и на своде, и на стенах — повсюду одни картины радости, глаза начинали светиться, и на сердце становилось легко. Связ-

ка зубов исчезла, перестали сверкать и не скалились рты. Эли рассказывала, рассказывала увлеченно, повторяла и повторяла с негасимым увлечением, как шелестел, как шептал и ворчал зал, купол его, как отвечал ее переживаниям, успокаивал, наполнял ее ожиданием, как рисовал ей бал и приглашение к танцу — как она поддавалась, рассказывала и рассказывала — оправдывалась, что доверилась ему, что пришла к нему. И пожимала плечами, пряталась в раскрытые его объятия, в раскрытые крылья, сильные крылья, что уносили ее за тридевять земель, на седьмое небо, где она вольно парила. Так она прочувствовала первый танец, его первое появление на балу, то же самое чувство охватило ее на празднике зала, и она все еще была там, по-прежнему там, на седьмом небе; вспоминала каждую мелочь, где и как он стоял, кто где был и как она последовала за ним по большому кругу; нашла и потеряла его, как искала и как хотела танцевать, хотела резвиться, самозабвения хотела только, она и самозабвение мнила с ним одним обрести... Рассказывала и рассказывала, рассказывала и спрашивала, где он был до сих пор, откуда пришел и что намеревался делать, спрашивала и не слушала ответа, продолжала вспоминать свое. Он улыбаясь смотрел на нее, глубоко вздыхал, вздымалась его мощная грудь, вздымалась, и вырисовывались мышцы под черной рубашкой — вот-вот оборвутся пуговицы. Он улыбался и смотрел на нее с благоговением и со страстью. Испуг то и дело появлялся в его глазах, казалось, они хотят избежать этого страстного желания, он весь обращался в глаза, в горящие глаза, готовые испепелить его самого и ее вместе с ним, но через минуту напряженность снимало, он вновь с благоговением смотрел на нее, смотрел благоговейно и наивно, с тем большей наивностью, чем больше выслушивал вопросов, выслушивал, но ничего не отвечал, только вздыхал глубоко. Купол повторял одно и то же стократно и тысячекратно, и их бывало двое, бывали и другие, заглядывающие в узкие окна, заглядывающие и трепещущие, трепещущие и переливающиеся многими цветами, многими картинами, картинами радости и блаженства.

Исчезали картины, гасли лучи в окнах, и картины исчезали, сумерки вползали в зал и в сумерках снова



начинал шелестеть свод. Эли все рассказывала и рассказывала; рассказывала по-прежнему увлеченно, бралась уходить и не уходила, рассказывала, делала шаг и останавливалась, уходила и возвращалась в приглушенные краски и приглушенный шелест, возвращалась и болтала, словно ребенок, с такой искренней, с такой наивной, с такой чистой радостью, невинностью такой, и угасала похоть, загоревшиеся глаза угасали, руки опускались, он тянулся к ней, и они опускались, уже не могли обвить, не могли захотеть превратить в комок, он тянулся к плечам, к красивым, изящно приподнятым, очаровательным плечам, заранее поднятым в ожидании сильных рук; и опускались руки, он бросал — «доброй ночи» и выбегал, исчезал, терялся, без шума и шороха, лес проглатывал его или земля, если земля проглатывала, он вырастал, из нее вдруг поднимался внезапно, ей казалось, что так и происходило, она не сводила глаз с тропинок, которые вели, а он возникал внезапно, за спиной, она все всматривалась в тропинки, он терялся, вдруг, внезапно терялся, стояла она с поднятыми по-прежнему плечами, в ожидании, что он обнимет ее, но его уже не бывало. Куда он шел, где бывал — странствовал? Она спрашивала, а он не отвечал, впрочем она не давала возможности ответить, иначе, может, он бы и ответил.

Зал горел в лунную ночь. Стояла пора полнолуния, солнце заходило и вроде не заходило, тотчас ярко загоралась луна, будто подстерегала закат солнца, и зал загорался, загоралась и Эли, и она излучала свет, светилось все — была пора полнолуния.

Именно когда угасали лучи солнца, лунный свет проникал в узкие окна. Эли вставала, чтобы попрощаться, уходила и возвращалась, оборачивалась с поднятыми плечами, ждала, и он обнимал внезапно, ненароком и произвольно, страстно и трепетно, обнимал, и в кольцо его рук начинали трепетать плечи и все тело, сердце готово было выскочить из груди, и слезы наворачивались на глаза, только не текли, только наворачивались на глаза, образовывали озеро в глазах, и с уст срывалось:

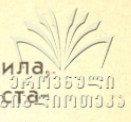
— Нет, о, нет...

Срывалось со стоном. Это походило на стон умирающего, стон обреченного, и он чувствовал, как слабеет, есть он и нет его, был и исчез. Свод шелестел о роке, весь зал шелестел, столбцы лучей наискось пересекали зал, узкие столбцы лунного света проникали через узкие окна. Была чистота и красота, чистота и невинность, красота и невинность, и шелестела ель певучая, шелестела и гудела.

«Нет, о, нет!»... звучало так беспомощно, что разве только изверг не пощадил бы, не смыслящий в красоте, не понимающий невинности. И он исчезал, на самом деле исчезал, терялся там же, в зале, ни в дверях не показывалась тень его, ни в окнах; она все еще чувствовала тепло его сильных рук, вся съеживалась, сжималась, оставалась одна-одинешенька, и только ей одной нашептывал что-то зал, нашептывал или повторял с тем же страхом и беспомощностью:

— Нет, о, нет!

И она опять ждала, и он опять приходил, немного пристыженный, немного раздосадованный, немного испуганный — помирится она с ним или нет, приходил и приносил пряжки из кости, браслеты из кости, медальон из кости, украшенные орнаментом или крохотными миниатюрами из «Жития Картли». Эли во что бы то ни стало сама хотела догадаться, какая из них что изображает, и радовалась, если угадывала без его помощи, радовалась и тогда, когда он приходил ей на помощь, радовалась и рассказывала, рассказывала по-прежнему увлеченно, словно то были ее личные воспоминания, сладостные и красивые воспоминания, она и трагическое так же рассказывала, так она оживлялась и ободрялась, — потом грустила, что это со мной происходит, но грустные мысли мгновенно улетучивались; оживление и восторг охватывали ее, только принимать эти великолепные изделия в подарок она ни за что не хотела. Они спорили, вернее, спорила женщина, в руки совала, просила забрать обратно, мужчина молча убирал руки за спину и пятился назад; и кто ведает, сколько раз открывала она медальон, в который раз всматривалась в лик Тamar и восклицала: «Нет, жаль отдавать его кому-либо». «Кроме тебя», — отвечал мужчина, и это было его самой длинной фразой в споре, больше и не надо было го-

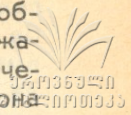


ворить, не надо было, и она умолкала, не находила, что ответить, — слово теряло силу, и лишь глаза ослепали вались посланниками горячей страсти, но и они опускались вскоре, не у мужчины — у женщины, и трепетали уста, не потому что собрались заговорить, нет, иной была природа этого трепета. Бывало, он приносил ежевики, и сверкали уста, те же уста по-иному сверкали с ежевичной росой на огромном листе, широком, с прожилками. Женщина раскрывала лист на коленях, ела напоенную солнцем ежевику, ела по ягодке, вкушала по ягодке солнце, по ягодке упивалась солнцем, предлагала мужчине, тот отказывался, она настаивала, протягивала ягодки пальцами в ежевичном соку, подносила к губам, вытягивались полные губы, касались пальцев в ежевичном соку, и женщина будто вскрикивала, оставляла ему лист с ежевикой и размахивала пальцами в воздухе, размахивала красивыми пальцами, предлагала еще и еще, отказывался мужчина... Она подносила... Он дотрагивался... И она смеялась и снова размахивала пальцами в воздухе, пальцами в ежевичном соку, и смеялась, смеялась и замолкала, прислушивалась—вторил ей зал или нет, а если вторил, то как?.. Вторил, конечно, радостно вторил зал, радовался купол, радость, говорят, тоже заразительна, и радовалась, размахивала пальцами, и тянулся мужчина к пальцам, дотягивался, возбужденный, и женщина немела, пугалась, резко отворачивалась, ежевика рассыпалась, ветерок сдувал листок, и разбрызгивал алые капельки в воздухе, весь лист был в капельках ежевичного сока, и осторожно скользили белые носки белых туфель, осторожно ступали между ежевичными ягодами и каплями и удалялись, приостанавливались и уходили. Ежевичные ягоды, напоенные солнцем, рассыпаны были по полу, и смотрел мужчина на ежевику, или зерна солнца. И уходил, убежал, спасался, чтобы завтра прийти снова, — этот промежуток от спасения до встречи был пленителен и непознаваем, и думать ему не хотелось, он был охвачен лишь радостью, радостью ожидаемой встречи и спасения. Но вот какая странность: в полдень квацихское солнце стояло подол-

гу, вроде бы неподвижно, не уходило, смотрело во все глаза все с одной и той же точки, будто знало обо всем, будто бы испытывало его нетерпение, испытывало, но под конец начинало жалеть его — срывалось вдруг, уходило, повисало над расселинами гор. Вздрагивало сердце у Эли от радости, и неведомая сила мчала ее в зал; туфли обдирали о камни и гальку, носки туфель, белые, голубые, кизилового цвета и других цветов — все ободрала, все изорвала, о них ли было сожалеть? Эли скользила по залу, уже не сидела, томясь в ожидании, скользила и выкрикивала — «ау!», вверх к куполу кричала, заигрывала с куполом, и купол гудел в ответ «ау!.. ууу...» — гудел протяжно, по лесу катилось эхо, передавалось горам, врывалось в пещеры и казалось, сейчас застучат копыта и, бряцая доспехами, спрыгнет с коня неистовый рыцарь. Казалось, конечно, потому, как приходил опять же он, спокойный и робкий, досадовал, что нет уже ежевики, отошла. Медальонов он больше не приносил, принес как-то клетку с маленьким пленником, лисенком, и играла женщина с маленьким пленником, поиграла, поразвлеклась и выпустила.

Выпустила маленького пленника, а как быть с большим пленником, не знала, не знала, что сама была покорительницей и покоренной. В общем, она чувствовала себя счастливой.

Угасали лучи солнца, опускался лунный свет, перемешивались день и ночь; перемешивались взволнованные чувства. И мужчина не выдержал. «Нет, о, нет!» — стонала женщина и чуть ли не припадала к его широкой груди в его сильных руках, чуть ли не припадала и чуть ли не пугалась снова, хотя уже или страх запаздывал, или язык заплетался, и вырывалось: «Нет... не здесь!!.» И ничего уже не могло остановить, если мужчина был мужчиной, похищал русалку, леший, он был лешим и похищал русалку, вводил куда глаза глядят, исчезал в лесу, преодолевал трясины, срывался в обрывы, обдирали на скалах кожу, запутывался в зарослях держи-дерева (на ветках держи-дерева оставались волосы русалки), рвалось платье русалки, и смех ее звучал отрывисто, но радостно; леший скатывался по склонам, по щебню, стремительно взбирался вверх, бежал, несся со всех ног, и русалочий смех сопровождал его, такой же безудержный, само-



забвенный и... обреченный в то же самое время. И обреченный... Так звучал тот смех, непознанный, пожалуй, непознаваемый смех, он прокладывал дорогу через лес, через скалы, поднимался над Квацихурой, она бежала за ним, безудержная русалка, обходила овраги, поднималась выше и выше, поднималась не по тропинке, по нехоженным шла местам, шла и достигала...

И достигала большой запруды Квацихуры, естественной, недоступной или труднодоступной. Зураб Квацихели собирался ставить здесь турбину, но намерение оставалось намерением, пустырь — пустырем. Сверху с ревом падал водопад и несся вниз, образуя озеро среди ольховых деревьев, ольха так же сверкала, как озеро, хотя чуть приглушенной, темнее, да это ничего, когда пылало озеро, пылали ольховые деревья, освещенные лунным светом, светом луны, в полнолуние опрокинутой над озером или упавшей в него, — кто ведаёт, может, она и упала в него, озеро ее окружало, мелкая рябь шла по воде, озеро приподнималось, как бы шепталось с луной, хотя нет, конечно же, ведь луна упала в него, оно шепталось с глыбой, похожей на островок и на луну в полнолуние, и добрался леший до острова, рассек озеро с пыхтением, русалку подбросил на глыбу, подбросил и взобрался сам, пыхтя, суетясь, ворча, скуля, скуля от возбуждения, взобрался весь мокрый, мокрую подбросил и сам взобрался, промокший насквозь, только они быстро высохли — теплой была глыба, раскаленная полуденным солнцем, и лежали они на луне, и плыла луна по озеру, глядела луна с небес и плыла, озеро тоже плыло, плыло и небо, плыло без конца, и они плыли без конца, и была теплой глыба — ложе русалок и леших, и щеки пылали у полной луны, у пухлой луны, она смеялась, умирала со смеху — луна в полнолуние.

Становилось прохладно; понятно, и глыба поостыла, лишившись полуденного жара, поостыла русалка, съежилась, сжалась, сильнее прильнула к лешему; сильнее прижал ее леший к груди, но никак не сумел согреть, и платье куда-то запропастилось, и рубашка. Куда они их бросили или он бросил, уже и не помнил,

Стар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

лежали голые, валялись на плоской, шероховатой глыбе, лежали или растворились в друг друга и пылали вместе с глыбой, пылали и дрожали, поскольку дрожала русалка, леший водил глазами из стороны в сторону, искал одежду, но тщетно. Озеро сверкало, распластавшись под луной, и ольховые деревья окаймляли его, и тень окружила каймой, и лежало на поверхности воды платье женщины, пестрое платье, покачивалось, за ним рубашка, черная рубашка, словно привязанная к платью, так и дрейфовали вместе, вместе он их и подобрал, выжал; и свою одежду подобрал, выжал, оделся, да что с того—тепла-то не прибавилось и, так ничего и не придумав, он наломал ветки ольхи, молодые побеги наломал, листья принес и свалил кучей перед ней, насыпал и расстелил, ее закутал, и сам закутался, и смеялась звонко русалка, леший ржал, фыркал, шумел водопад, не гремел, а только шумел летний водопад, стаявшие снега словно извинялись перед глыбами за то, что натворили с ними весной, так оно и было, но только все-таки удивительно, что русалке стало холодно — удивительно. Такой сказки и не вспомнить, ни о русалках, ни об эльфах, ни о мермеидах, ни о гуриях не вспомнить, ну а что согрешила русалка или подобные ей, об этом легко можно вспомнить, все грешили, водяная душа всякая грешной получается, наша или чужая, согрешила и познала стыд, и наготу познала, познала вместе одновременно, как бы там ни было, поторопилась прикрыть наготу, смыть стыд, а эта не познала, так как ей стало холодно, и в листьях искала она прибежища — смеялась звонко и одевалась листьями, падали листья, падали, и она прикрывалась ими, леший ржал и обсыпал ее листьями, укрывал ее листьями, и она позволяла укрывать себя листьями — русалка, конечно.

Продолжение следует





ЧАСТО встает у
меня перед глаза-
ми картина, увиденная
в маленьком примор-
ском городке.

Полдень. Идет дождь.
Медленно бреду по омы-
той серебристым дождем
улице и смотрю на выст-
роившиеся вдоль мосто-
вой лампы.

Наверное, их забыли
погасить, и по краям
прямой, как струна, ули-
цы льется тусклый свет,
обволакивая окрестно-
сти теплым туманом и
изменяя цвета. Изнурен-
ное сияние окутывает
длинные трубочки лам-
пионов негой и спокой-
ствием, и мне кажется,
что здесь, в этом болез-
ненно хрупком и восхи-
тительно трогательном
пространстве парит не-
кая тайна...

* * *

Все произошло в мгно-
вение ока: Ангия успел
только заметить, как на-
кренилась возвышающая-
ся слева отвесная скала,
как мелькнули во вра-
щающемся пространстве
скелеты покосивши х с я
деревьев и огромный
свиток облака, силь-
нейший толчок сорвал
его с места, прибил к

Сосо ПАЙЧАДЗЕ

ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ

П о в е с т ь

Перевод
Динары КОНДАХСАЗОВОЙ

автобусной двери, перед взором возникли обезумевшие глаза женщины, держащей на руках младенца, перекошенное лицо вывалившегося из кресла мальчика, судорожно обнимающие друг друга молодые супруги, и вдруг снова он сорвался с места, перегнулся через стальной поручень и близко, совсем близко увидел освещенную короткой рябью фар землю, красота которой навечно запечатлелась в его сознании — будто в увеличительное стекло увидел он влажные комья земли, отпечатавшиеся в далекой памяти детства,—и в тот же миг съежились, скрючились два распластанных по земле пятна света, раздались звук разбитого стекла и грохот, отчаянный женский крик пронзил застывший в ушах звон, сила инерции прибила Ангию затылком к земле, и, еще не лишившись сознания, он удержал в памяти летящее по земле огненное колесо животного воя...

Он очнулся на влажной земле, превозмогая боль встал, выпрямился и огляделся. Слышался приглушенный звук, напоминающий журчание воды. Поначалу ему показалось, что шумит лес, но звук неожиданно раздался совсем близко, и Ангия понял, что это шумит в ушах. Он потряс головой, чтобы рассеять гул, но в затылке возникла такая жгучая боль, что он не удержался и застонал, потом осторожно провел по щеке рукой и в это самое время увидел осыпавшуюся обочину дороги, сломанные кусты, кое-где проступающую из темноты белизну ободранных стволов, и внезапно пронзила его страшная мысль: автобус скатился в овраг. Ангия взгляделся в темноту — царила тяжелая и холодная, как ледяная глыба, тишина.

Страх медленно овладевал всем существом Ангии. Он обвел настороженным взглядом черный овраг, измерил на глаз его крутой склон и стал яростно карабкаться по нему, впиваясь в него ногтями, цепляясь за ветки кустарника и ломая их. Вдруг ему показалось, что кто-то, хрипя, тащит его назад, он оглянулся и, никого не увидев, вновь с остервенением стал ползти в гору. Вновь послышался жуткий стон, Ангия чуть было не закричал, изо всех сил ухватился за ключую ветку, повис на ней всей своей тяжестью, но ветка треснула, и он скатился вниз, в кровь исцарапав лицо.

Вдруг ему снова показалось, будто кто-то вцепился ему в воротник, он резко вскочил на ноги и тут же вновь распластался по земле... Никого... Кругом никого... Он спасся! Только он один спасся! При мысли об этом вновь овладел им леденящий душу страх — все погибли, только он спасся! Он как можно скорее должен выбраться отсюда и бежать! Бежать без оглядки. Ангия вскочил и вновь стал взбираться в гору. Смерть еще совсем близко, он должен убежать от нее и вернуться к жизни, которая ждала его наверху. Скорее, скорее туда, наверх, в привычную, обыденную жизнь, к жене и дочери, в страстно желаемое спокойствие!..

Ангия добрался до обочины, из последних сил уцепился за торчавший из земли корень и выкарабкался на дорогу. Он долго, стоя на четвереньках, переводил дух, потом выпрямился, перешел на другую сторону дороги и прижался к скале.

Стояла глухая тишина, в которой Ангия различал лишь собственное дыхание. Как замороженный, всматривался он в чернеющее по ту сторону дороги пространство, и ему казалось, что оттуда доносятся стоны. Он замер, сильнее прижался к скале и прислушался. Да, там кто-то стонал. Ангия рванулся с места и побежал прочь что было сил; он должен был убежать отсюда как можно быстрее и сохранить свою жизнь, скрыться поскорее от невидимых, зорко следящих за ним глаз, спрятаться за выступом скалы, нависшей над дорогой, и не слышать больше ужасающих стонов. И когда он почти добежал было до этого выступа, его ослепил резкий свет. Он остановился, прикрыл ладонями глаза, повернулся, решил было бежать обратно, но оцепенел в страхе.

Машина медленно приблизилась к нему.

— Эй! — услышал он хриплый громкий голос, обернулся и увидел в окне машины мужчину в сванской шапочке.

— Что случилось, парень? — спросил тот. В кабине машины мелькнуло еще два лица.

Ангия вдруг успокоился, взял себя в руки, без спросу открыл дверцу машины и сел рядом с теми двумя.

— Автобус перевернулся, — безучастно сказал он. — Вон там...

— Что? — человек в сванской шапочке обернулся и уставился на Ангию, который молча протянул руку к тому месту, где произошла авария, и забился в угол. Машина тронулась с места. Вскоре показались осыпавшаяся обочина дороги и сверкающие на ней осколки стекол.

— Ух ты! — удивился шофер. — И вправду...

— Люди там были? — спросил кто-то.

Ангия кивнул.

— И что же? — раздался тот же голос. — Все погибли?

Ангия снова кивнул, потом пожал плечами и посмотрел на человека в сванской шапочке. Машина остановилась. Человек в сванской шапочке вышел из машины и подошел к обрыву.

— Когда это случилось? — обратился он к Ангии.

— Только что, — тихо ответил он.

Остальные тоже вышли из машины.

— Может, кто и жив еще, — сказал низкий толстяк.

— А этот что, спятил?

— Нет, просто перепугался, — ответил толстяк, — не видите разве, трясется весь.

— Что делать будем? Спустимся туда?

Шофер подошел к обрыву и заглянул в него.

— Ничего не видать. Очень глубоко.

— Что же делать? — задумался тот, что в сванской шапочке. — Хотя бы телефон был поблизости...

— Едем в город, — сказал шофер, — здесь километров шесть... «Скорую помощь»....

— Поехали! Быстрее!

Все сели в машину, и она понеслась по сверкающему асфальту.

— А ты где был? — вдруг спросил мужчина в сванской шапочке.

— Там... — сказал Ангия.

— Где — там?!

— В автобусе.

— А как же тогда...

— Не знаю, — сказал Ангия и съежился в углу.

— Кажется, открылась дверь, и я вывалился... Не знаю...

Толстяк подозрительно посмотрел на Ангию, потом перевел взгляд на своего спутника в сванской шапочке.

— Жми! — крикнул последний шоферу. — Быстрее...

Машина миновала нависший над дорогой выступ скалы, скрежеща на повороте тормозами. Яркая рябь фар осветила пропасть, промелькнула вдоль торчащих из оврага елей и растворилась в зияющей пустоте. У Ангии заледенело сердце — страх, казалось, родился где-то вне его, потом завладел его телом и повлек за собой, как пушинку на ветру. Он крепко ухватился за ручку двери и закрыл глаза. Жив! Он жив и едет домой. Он спасся потому, что стоял у двери, потому, что... Через каких-нибудь два дня пройдет и боль в затылке, и все исчезнет без следа. Без следа... Без следа. Эти слова отзывались в его сознании эхом брошенного в пустой колодец камушка. Потом эхо усилилось, обрело иной смысл и переросло в отчаянный крик. Вокруг царила омерзительная, жестокая пустота, она обступала его со всех сторон и влекла в свои недра. В страхе смотрел он на дорогу, которая в мгновение ока исчезала под колесами машины и с каждой минутой приближала к миру, в который он стремился с нетерпением и надеждой.

Одиннадцать... Одиннадцать... Двенадцатым был бы Ангия. И отчаявшееся сознание пиявкой присосалось к непостижимому мысленно расстоянию, разделяющему одну цифру от другой, расстоянию, ставшему для него роковым, расстоянию, в котором сосредоточились его жизнь, его личность, его права. И вдруг искрами взметнулся у него перед глазами сверкающий ночной город и тотчас погас. У Ангии защемило сердце, и он бессильно откинулся на сиденье.

— Быстрее! — донесся до него нервный голос. — Быстрее!



Прошло время.

Однажды теплым летним вечером оживился один из старых районов провинциального городка. На резные балконы домиков, выстроившихся по обеим сторонам булыжной мостовой, высыпали любознательные жильцы. Их внимание привлекло не обычное зрелище — шла съемка одного из эпизодов фильма. Вокруг толпился народ, все суетились, бегали, кричали. Какие-то парни тащили по подъему длинный электропровод, перебрасываясь шутками вперемешку с бранью. Щуплый азербайджанец с измученным лицом стоял посреди улицы, что-то кричал некоему Коле и с остервенением бил ногой по земле, по всей видимости, указывая на выбранное им для чего-то место. Вдоль тротуара уже проложили узкоколейку. Двое крепких парней с трудом поставили на рельсы низкую, массивную тележку, посадили на нее взъерошенного оператора. «Мотор!» — послышалась команда.

Внизу, в конце улицы, выбрасывая клубы дыма, оглушительно грохотала похожая на вагон серебрястая машина. Вдруг что-то задребезжало, зажужжало, и ослепительное сияние озарило пространство — зажглись огромные глаза юпитеров, резкий свет хлынул на дома, высветил погруженные в темноту легкие балконы и развешенное на веревках белье. С балконов послышались женские крики, хозяйки, понявшие, что укладу их жизни грозит опасность стать достоянием гласности, кинулись к рубашкам и пеленкам и судорожно принялись стаскивать их с веревок, опуская при этом глаза и с деланной стыдливостью приговаривая: «Уберите это отсюда! Уберите!» Мужчины в пижамах весело обсуждали неожиданное событие, дети горланили, и темная глухая улочка вдруг оживилась и наполнилась весельем. Шум и гвалт привлекли внимание случайных прохожих, они сгрудились в сторонке и с любопытством наблюдали за происходящим. «Достаточно!» — отдал приказ какой-то увалень, взмахнул руками и принялся прохаживаться по среди улицы с видом исполнившего долг человека. Внезапно исчезла вспыхнувшая вдруг улочка, лучи света скользнули по стенам, упали на мостовую, под-

дись назад, съжились и утонули во мраке. Некоторое время слышался еще гул машин, вскоре и он, словно запыхавшись, стих, и нависла тяжелая тишина. Вновь послышались крики теперь к ним примешивался чей-то низкий и повелительный голос, но уже казалось, что они доносятся из глубокой пропасти, колкими струнками пронзая воздух. И за видимой чертой улицы, за внезапно нависшей теменью, возник бесконечный, всеобъемлющий вакуум...

— Видите того человека? — спросила невысокая ладная женщина седого мужчину в брезентовой куртке. Женщина курила, прислонившись к «виллису», стоявшему возле маленького открытого дворика. Мужчина, поставив ногу на колесо, уперся подбородком в колено и бессмысленно куда-то уставился.

— Которого? — безразлично спросил он.

— Вон того, в берете. Видите, какое у него лицо?

— Этого, что ли? — все так же отрешенно спросил мужчина и, прищурившись, принялся его разглядывать.

На противоположной стороне стоял человек, сошедший, казалось, со старой, пожелтевшей фотографии. Серый костюм висел на его тощей фигуре, голову покрывала шапка, похожая на берет. Он стоял не шелохнувшись, заложив руки за спину. На лицо и плечи его падал белый свет, и длинное, рано состарившееся, бледное лицо казалось юкаменевшим, и только кошачьи, сверкающие глаза оживляли его облик.

— Он уже несколько дней ходит за нами по пятнам. Вот и утром приходил в порт. У него потрясающее лицо!

— И что же? — Мужчина энергично потер платком крупный рябой нос, зажал одну ноздрю пальцем и отрывисто засопел.

— Представляете, каков он будет крупным планом? Он бежит, а камера навстречу движется. В лоб, а?

Человек пожал плечами, вновь засопел и что было силы вдохнул воздух.

— Вы думаете? — нехотя прогнусавил он.

— Думаю, будет здорово.

— Ладно, не до него сейчас. И так поздно.

— Странный вы человек, Михаил Давидович, — обиделась женщина и отошла от машины. — Позовите Джимшера.

— Воля ваша, — тоже обиженно ответил Михаил Давидович и позвал глухим голосом: — Джимшер! Джимшер!

Примчался маленький лысый человечек, вытянулся в струнку и с покорностью посмотрел женщине в глаза.

— Ты местный, не так ли?

— Ага.

— Того человека знаешь? Приведи-ка его ко мне. Джимшер заколебался, вытянул шею и уставился на человека в берете.

— Ангию? — Перед ними возник загримированный верзила, который все это время стоял неподалеку и, наострив уши, слушал разговор. Женщина повернула к нему голову и равнодушно оглядела с головы до пят. — Он же чокнутый!

Михаил Давидович расхохотался.

— Как чокнутый? — обескураженно пробормотала женщина.

— Он каждый день к нам приходит, — сказал верзила. — И у гостиницы был, и на берегу. Его тут все знают.

— Так и есть, только по нему и незаметно ничего, — вставил Джимшер.

— С тех пор как умерла его жена, он рта не раскрывал, — сказал верзила, — все бродит тут. Оказывается, он говорил, что был известным актером.

Женщина удивленно посмотрела на Ангию.

— Вы слышите, Михаил Давидович, — повернулась она к человеку в брезентовой куртке, который слушал их с насмешливой улыбкой и равнодушно оглядывал стоявшего на противоположной мостовой в темном проходе двора Ангию. — А что если сказать ему?

— Я-то скажу, — вызвался Джимшер, — но какой от него прок?

— А это уж мое дело, — рассердилась женщина. Она уже сомневалась в своей затее, но не сдавала позиций. — Скажи, только осторожно.

— Была у него дочь, да вышла замуж за какого-то моряка, — добавил верзила, но женщина, не обратив на него ни малейшего внимания, повернулась спиной.

Джимшер подошел к Ангия. Ангия не шелохнулся.

— Можно вас на минуточку? Режиссер хотела бы с вами поговорить.

Ангия молча и безучастно смотрел на него.

— Вон та женщина — главный режиссер, — сказал Джимшер. — Она хочет вас снимать, — и для пущей важности добавил: — в кино...

Ангия вздрогнул, недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потом кинул взгляд на режиссера, резко повернулся и отошел в сторону.

Джимшер некоторое время в раздумье смотрел ему вслед, потом развел руками и подошел к режиссеру.

— Не сечет, — виновато сказал он.

— Наверное, ты не сумел как следует объяснить ему, — улыбнулась женщина. — Одни неумехи собрались. Массовка готова?!

— Они внизу, — Джимшер понуро указал на автобус.

— Приготовились, — сказала женщина, выбросила сигарету и ушла, шагая широко, по-мужски. — Поднимите их наверх. Будем репетировать! — добавила она на ходу.

— Репетиция! — провозгласил Джимшер и хлопнул в ладоши.

— Осветители, по местам! — с командирским апломбом заорал увалень, который до сих пор прохаживался посреди улицы.

— Пусть погасят в домах свет! — окликнул режиссера оператор в рубашке навыпуск, — Марина, пусть свет погасят!

— Не мне же его гасить, — рассердилась режиссер.

— Виноват, — загоготал оператор. — Хута, ор-
ганизуЙ!

Хута оглядел балконы.

— Эй, люди, выключите на несколько минут свет, съемка начинается!

На балконах послышалось недовольное ворчание, но два-три окна все-таки погасло. Вскоре дома в округе и вовсе погрузились во тьму.

— Свет!

Вновь зарокотали машины, засверкало и потухло с молниеносной быстротой ослепительное сияние, но тотчас вновь встрепенулось, залило улицу и одело деревья в блестящий, едкий изумруд.

Ангия вздрогнул и, как замороженный, безотчетно пошел навстречу ослепительному сиянию, вышел на середину ярко освещенной улицы и застыл как вкопанный.

— Дядечка, постой там минутку, — закричал оператор и направил на Ангию объектив, а двое щуплых парней катали взад-вперед по рельсам тележку. Потом оператор выпрямился и закричал:

— Много света! Вставьте сетки... Еще... И в тот тоже... Хватит. Пусть он встанет на место. Режиссер готов?

Марина, пристально разглядывавшая замершего посреди улицы Ангию, дернула оператора за руку и кивнула в его сторону.

— Посмотри на него, какой интересный тип...

— Класс! — оценил оператор и почесал голый бок.
— Чтоб мне провалиться! Класс!

Марина подошла к Ангии.

— Здравствуйте, — робко поздоровалась она. Ангия смотрел на нее бессмысленным взглядом. Марина в растерянности огляделась по сторонам, не зная, с чего начать разговор, и, набравшись храбрости, сказала: — Мы отнимем у вас совсем немного времени. Знаете, нам хотелось бы вас снять, ваше лицо... Вам нужно будет всего лишь пройтись вот здесь, — она повернулась и вытянула руку, указывая на то место, где должен будет «пройтись» Ангия. — Вот отсюда до того дерева. И все.

— Ангия продолжал молчать.

— Мне сказали, что вы актер, — осторожно встала она.

Ангия недоверчиво посмотрел на нее и отступил на шаг. Марина осмелела и даже коснулась рукой его локтя: — Это займет совсем немного времени.

Ангия еле заметно кивнул и вновь уставился в озаренное прожекторами пространство.

— Пойдемте, — сказала Марина, взяла его под руку, и они стали подниматься вверх по подъему. — После сигнала пойдете отсюда вниз, впереди всех. А как дойдете до того дерева, побежите под гору. Вон до той машины. Всего и делов...

Она подошла к оператору и стала ему что-то усердно объяснять, то и дело поглядывая на Ангию, потом обернулась и радостно провозгласила: — Приготовиться!

К Ангии подошел Джимшер и, положив ему руку на плечо, сказал:


— Начинаем!

— Камера! — раздался женский голос.

Кто-то легонько подтолкнул Ангию, и он медленно пошел, отрешенно поглядывая на катящуюся по рельсам в двадцати шагах от него камеру. Вот он подошел к линии, разделяющей тень и свет. Еще миг, и он преодолет страх, переступит эту черту, эту заряженную зловещими воспоминаниями грань. Ангия остановился.

— Не стойте, идите, идите! — послышался ему чей-то голос, и, словно загипнотизированный, подчинился он его повелительному тону, сделал шаг, и тотчас исчезло все — и люди, и улицы, и дома, и деревья, — все осталось позади него, в утешительной темноте, а ослепительный свет повлек Ангию, словно бесплотного, в свои магнетические недра, закружил в водовороте лучей, и вот уже оживает какое-то роковое, притавившееся в его существо ощущение, от которого кружится голова, и, как замороженный, глядит он во взвихренное ярким светом пространство, устремляет взор за воздвигнутый неприступной преградой занавес и, испытывая режущую боль в глазах, различает по ту сторону потухшие окна домов и зигзагообразные си-

Сосо Пайчадзе. Последний дубль.



луэты балконов: лучи прожекторов, пульсируя, высветили погруженные в темень деревья, столбы, мощеную булыжником покатуую улочку, взгляд Ангия наткнулся на яркие автомобильные фары, и снова две световых волны опрокинули улицу, и Ангия остановился. Вновь возникли, постепенно становясь все отчетливее и явственнее, зыбкие призраки далекого видения, и вот медленно двинулась большая сверкающая сцена, с грохотом закружила над темным партером, и казалось, что не сцена вовсе, а зрительный зал кружится у него перед глазами, и за стеной света, выросшей над рампой, там, где зияет черная полоса погасшего прожектора, призрачно вырисовываются короткие цепочки зрителей и одинокие спинки пустых кресел, уплывающие постепенно в черноту зала. Ангия слышит глухой, вулканический гул вертящейся сцены. В коленях его возникает легкая дрожь, или это едут по улице машины, и шелест их покрышек прокрадывается в тело, и в глухом, равномерном гуле мотора слышится ему отзвук далеких ощущений — и он стоит посреди сверкающей сцены, и все — вертящиеся вместе с ним картонные, цвета ржавчины стены, покрытое красным бархатом ложе и тяжелые пурпурные занавеси, и круглый роскошный стол, на котором мерцают три свечи в бронзовом подсвечнике, все — каждое кресло невидимого ему темного партера, далекие ярусы, тяжелая люстра, похожая на сложившую крылья большую птицу, застывшую на своде темного зала, — невидимыми нитями привязано к каждой клеточке его тела, кружится вместе с ним, и Ангия медленно преклоняет колени на сцене, которая постепенно замедляет свой ход, и, застыв на краю авансцены, он чувствует, как напрягается пространство в ожидании последних аплодисментов.

Но когда же был этот долгожданный миг?

...Врач, молодая девушка в белом халате, с розовыми, прозрачными ладонями, от которой веяло мятой и прохладой, сказала ему с деланной мягкой улыбкой: «Вы устали и нуждаетесь в покое. Отдохните у нас, все будет хорошо...» Потом она обратилась к Анете: «Не бойтесь, дорогая, все будет хорошо. Вот увидите...»

Ангия слушал ее внимательно и понимал, что она

права. И вправду, этого мига не было, он не может вспомнить тот день...

Он старался вспомнить свое прошлое, но оно бесмысленной пустотой обступило его со всех сторон. Все было погребено в этой бездне. Да и сам Ангия стоял где-то далеко, вне всего сущего, и никак не удавалось ему перейти границу и войти к этим людям в белых халатах, чинно сидящим в машине и не обращающим ни малейшего внимания ни на него самого, ни на низко склонившую голову и словно окаменевшую Анету... «Отдохнете у нас и все будет хорошо...» Все... Ангия сделал над собой усилие и попытался постичь происходящее, но им овладело лишь странное и тяжелое, как камень, ощущение, которое принадлежало не ему, а другому, бесплотному существу, с которым тем не менее он испытывал кровную близость. И вот его увозят в больницу. Он улыбнулся: «Кто знает, может, это и к лучшему».

С жалостью посмотрел он на съезжившуюся в углу жену, разглядел в темноте отпечатавшуюся на лице скорбь, а может, это просто померещилось ему. Ангия сочувственно сжал окоченевшие пальцы жены, и Анета вымученно улыбнулась ему в ответ.

Ангия вздрогнул. Какой странной была эта улыбка! Она возникла далеко-далеко, в пустоте далекого прошлого, и застыла. И подобно стайке разноцветных бабочек взвилось в обступивший его со всех сторон хаос множество улыбок, и вот наконец тронулось время, словно внезапный ветерок всколыхнул нависший над полем туман... Где он сейчас находится? Что столь явственно пробуждается в его сознании?

— Стоп! — вернул его к действительности резкий женский голос.

Режиссер прыгнула с тележки, быстрым шагом подошла к Ангии.

— Достаточно! — крикнула она. — Все по местам! Начинаем съемку!

— Выключить лихтваген! — послышался голос с азербайджанским акцентом.

Мгновенно стих далекий гул. Улица ^{качнулась} растаяла, исчезла, и Ангия погрузился в ^{блаженное} спокойствие.

— Дежурный свет!

Мутную мглу рассеяла струя света, скользнула по белой стене и косой линией повисла в воздухе. По шероховатой поверхности мостовой стлалось ровное, тусклое сияние. Ангию подхватил луч света и... Где же он сейчас? Что проясняется в его помраченном сознании?

Вот он дремлет в навевающей негу тиши восхитительной аллеи. Какое спокойствие царит вокруг! Ему кажется, что все это сон, долгий, сумбурный сон. И вдруг он просыпается в прохладной, сладостной тени.

Уже все кончилось.

Зачем он терзал себя? Ему хотелось добиться правды? А что есть правда одного человека? Всего лишь бессмысленный груз, который надрывает спину и утомляет. А как легко, оказывается, почувствовать себя свободным! Всего лишь одно незначительное движение, легкое мановение руки, и все: — Он свободен! И все свободны.

Всего лишь мановение руки, он спокойно и уверенно вытащил из кармана длинный измятый листок.

Словно издалека слышался какой-то звук, отдаленно напоминающий шорох разрываемой бумаги, потом он стал явственнее, и Ангия почувствовал паразитильную свободу и легкость.

Он сидит в тихой аллее и наслаждается ее красотой и прохладой.

Сквозь мохнатые сосновые ветви прокрадывается полуденное солнце и рассыпает знойные пятна по усыпанной щебнем тропинке.

Ангия прищурился и искоса посмотрел на веснушчатую дорожку: камушки растаяли, смешались друг с другом, и жаркий мозаичный ковер засверкал на солнце, медленно поднимаясь ввысь. Ангия открыл глаза, обернулся и увидел блаженно возлежащую в полозатом шезлонге Элисо, ее загоревшее лицо, гибкое, литое тело, смело вздернутый выше колен цветастый



сарафан и стройные, сильные ноги. Вдруг нахлынуло на него подспудно вынашиваемое подозрение. Нарочитым и вызывающим показался ему облик дочери, и он отвел глаза, с подчеркнутым безразличием растянулся в шезлонге и уставился на просвечивающее меж ветвей голубое небо. И бескрайний горизонт, вызывающий своим ослепительным сверканием тошноту, сквозил в безжизненно торчащей решетке пыльной хвой, блистал подобно накаленной жестяной крыше и слепил глаза. Ангия лег на бок, уперся головой в стальной обод, закрыл один глаз и принялся исподтишка наблюдать за сидящей на стуле со скрещенными на груди руками женой. На лице Анеты застыла беззаботная улыбка, и, самодовольно склонив шею, она кокетливо поглядывала вокруг. Ангией постепенно овладевало тяжелое, унижительное сожаление, потом и оно вымерзло, окаменело, оставив после себя болезненную немощь, и постепенно затуманился его взор, налились свинцом веки и... он очутился в светлой просторной комнате..

В комнате за столом сидел красивый статный мужчина и смотрел на Ангию с теплой улыбкой. Ангия направился к нему, медленно одолел нескончаемо длинный путь от двери к столу и покорно остановился. «Послушайте,—сказал ему человек и встал,—я вас прекрасно понимаю, но все же вы поступаете глупо. Человек в вашем возрасте не должен так ошибаться. Бросьте вы все это. Так будет лучше и для вас, и для всех остальных. Примите мой добрый, если хотите, даже дружеский совет. Пока что дружеский, — двусмысленно повторил он, вздернул брови и улыбнулся. — Мне сказали, что вы хороший работник, отец семейства. Мы вам поможем, поддержим, учтем ваши заслуги, — он подошел ближе, положил Ангии руку на плечо, вновь улыбнулся и показал на карман. — Ну, давайте-ка, так будет лучше, поверьте мне...»

Всего лишь одно движение — и все кончится. И сейчас ему слышится тихий шелест бумаги... Ради Анеты, ради Элисо...

Но вот уже все позади, и об этом не стоит и думать. Сейчас он сидит в саду и дремлет, ибо свободен

сам и свободны все — и Анета, и Элисо, и все свободны.

«Вы устали и нуждаетесь в покое, — сказала ему врач, — отдохнете у нас, и все будет в порядке».

Вот чем все кончилось! Он уступил, и короткими шепселест бумаги положил всему конец. Что же ему было нужно? Сейчас лишь тень столь страстно желанного им покоя парит на самом дне глубокой пропасти. Да, было некое великое спокойствие в том суетливом существовании! Странное равновесие овладевало всем его существом, когда, возвращаясь вечером с работы, он нажимал пальцем на кнопку звонка и отзвывающееся в глубине комнаты глухое звяканье приятной дрожью пронизывало тело, в блаженном ожидании смаковал он остающиеся до открытия двери секунды, и при виде настороженного, вопросительного взгляда жены, при виде ее лица, осененного желанной покорностью, Ангия чувствовал себя обладателем драгоценного, принадлежащего его плоти и духуклада. («Уступи! Уступи!») О, эта коварная, вероломная улыбка, это вкрадчивое бабье заискивание в каждом жесте... Брезгливая жалость овладевала им при мысли о том, как пыталась Анета, руша однообразие тихой супружеской жизни и домашних забот, напомнить мужу о когда-то столь милых ему привычках, воспоминание о коих все еще теплилось в ней, спасти себя от опасности, которая ей грозила. Ее женский инстинкт сурово возвещал о том, что беда на подходе, и в один прекрасный день, когда вернувшийся домой Ангия увидел по-девичьи причесанную, встревоженную и будто помолодевшую жену, он почувствовал, что где-то поблизости кружила главная и долгожданная сила, которой суждено было стать властительницей всего сущего.

Какой жалкой была эта прическа! Как не вязалась она с ее обликом! С твердым, незыблемым спокойствием, которое вот уже двадцать лет текло широкой, сильной рекой и строило постепенно запруды в этом доме, в этих стенах, в этих людях... Странная жалость и нежность овладели им при виде жены: так причесывалась она когда-то давным-давно, до рождения их ребенка. Тогда Анета боялась его, и не его даже, а завораживающей силы, которой он обладал.



которую еще не растратил попусту и не проявил с
 всеразрушающей откровенностью. И вот эта сила
 вновь вызрела в нем!

Вновь остановилось время и ледяным занавесом
 встало между Ангией и всепожирающей пустотой. Все
 находится по эту сторону занавеса, по эту сторону
 бродит, подобно тени, какое-то иное, ужасное существ-
 во, понять которое не в силах его сознание.

Прошлого больше нет. Все лишь в настоящем —
 и настороженное подозрение, которое овладело им при
 виде дочери, и улыбка Анеты, и прохладный запах бе-
 лого халата врача.

Все в настоящем...

Вот идет дождь.

Почему возник в сознании этот далекий дождли-
 вый вечер? Они медленно шли по усыпанной желты-
 ми листьями пустынной аллее. Ангия чувствовал себя
 чужим в этом печально поникшем окружении, ему
 недоставало неукоснительной твердости и самоуве-
 ренности, и поэтому:

— Я должен что-то рассказать тебе, — спокойно
 сказал он.

Анета испуганно посмотрела на него.

— Так, пустяк, — улыбнулся ей Ангия, — расска-
 зать?

— Да.

— У меня такое настроение, что хочется во что бы
 то ни стало рассказать тебе...

Анета повисла у него на руке.

— Ну, расскажи.

— В нашей деревне жила девочка-сиротка, —
 сказал Ангия и замолк. Некоторое время они продол-
 жали идти молча.

— И что?

— И...

...Он сидел тогда в дверях кухни. Слышал-
 ся равномерный шум дождя, осторожно прокрадывал-
 ся в тело склизкий холод глинозема, а впереди, в
 желтых стебельках сена, усеявших склон, обитало не-
 достижимое для его детского сознания ощущение ве-
 ликого, неминуемого благоденствия — именно отсюда

брало начало его далекое, парящее по ту сторону за навеси прошлое! Двенадцатилетний мальчик (неужели это и вправду Ангия?) сидит в открытых дверях кузни, всматривается в пропитанное туманом и влагой пространство и чувствует, как поднимается в груди беспричинная детская обида...

Сейчас он уже не помнит, вправду ли пришла Натиа, босая, вымокшая до нитки сиротка, брошенная на попечение деревни, или это всего лишь видение плод болезненного сознания, а может и вовсе промелькнуло в другое время, только Натиа прибрела в тот ливень, остановилась на пороге и уставилась на него улыбаясь.

— Тебе чего надо?

— Ничего.

Откуда взялась эта брезгливость? В каком уголке детского сердца скрывались желчь и зависть, которые неожиданно переполнили его тогда, налегли на грудь и вырвались наружу.

— Пошла отсюда! — закричал Ангия.

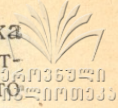
Натиа, по-прежнему улыбаясь, стояла на пороге как ангел на фоне посланного небом ливня, некошеных трав, стелящейся по горам дымки. И тогда, — неужто она разгадала своим детским инстинктом смысл этого внезапного мятежа? — и тогда она гордо повернулась и ушла, разбудив в Ангии смутное чувство, укромно дремавшее доселе, и вот оно проснулось, ожило...

— Не пугай меня, Анги, не пугай, мой родной, — тихо сказала Анета.

И Ангия понял, что любил ее, девушку, которая должна была стать его женой, любил именно из-за этого страха или столь милого его сердцу притворства.

— Постой, — сказал он непривычно низким взволнованным голосом.

...Натиа, Натиа, семи- или восьмилетняя малышка на берегу речушки, и сам Ангия, двенадцатилетний мальчик, сидящий тут же на мокром камне, коричневая корова, пасущаяся на растопленном лучами заходящего солнца лугу, а сверху, под огненными облаками — малахитовые контуры длинного хребта, и на



четким зигзагом высящейся горы — редкая стайка печально парящих соколов, и кажется, будто сладостное журчание воды, раздающееся под самым ухом, это отзвук их невозмутимого полета, и все пронизано нежной любовью и кровным единством — у Ангии еще раз болезненно сжалось сердце от подступившей к горлу брезгливости к копошащейся на берегу девочке, потому что в этом полном любви и неги мире, в этот миг, отмеченный небесным совершенством, она противостояла окружающему миру одним своим таинственным появлением, отнимала у Ангии и приравнивала себе его долю этого мира. Девочка обладала каким-то раздражающим своей необычностью и таинственностью кладом, который она постоянно носила с собой и которым прельщала его, как новой игрушкой, вероломно сея сомнения в искренности любви к нему всего окружающего. Ангия чувствовал себя ущербным существом, таящим в сердце злодеяние, — только сейчас он постигает это, только сейчас проясняется в его болезненном сознании ужасное желание — он желал смерти Натии, хотел, чтобы она исчезла с лица земли, и, быть может, тогда он сумеет подавить в себе эту свирепую ревность, эту беспричинную злость или зависть... Нет, не было этого, господи, помилуй, не было! — но он и сейчас чувствует, как ерзала в груди уничтожающая злоба, как он завидовал соколиной стае, в наслаждении реющей в уже покрытом саваном нервических сумерек пространстве над малахитовой горой, завидовал всей этой чарующей картине. А через два года Натиа умерла от какой-то неизлечимой болезни, и в скорби Ангии, в его слезах было безграничное желание искупления греха, покаяние и безмерная любовь, которой он не нашел объяснения ни тогда, ни много лет спустя...

— Не пугай меня, Анги, не пугай, мой родной...

Что это было? Страх? Женское кокетство? И сейчас анетино лицо стоит перед ним, он видит ее покорный, притворно-нежный взгляд, в котором прочитывался страх перед неведомой доселе мужской силой.

Эта покорная, доверчивая женщина одна верила в выдуманный им образ, в то, что есть в нем желанная

сила, в существовании которой не был уверен он сам.

«Не пугай меня, Анги, не пугай, мой родной...»

Может, это притворство? Женское лукавство? Но Ангия верил ей, потому что любил. Он понял это столько же очевидно, как понимает и сегодня, смотря на девичью прическу и полный мольбы и страха взгляд жены.

...И вот вновь воскресла эта сила.

«Послушай, — говорила ему Анета, — с чего ты взбесился. Уж дочь заневестилась, а ты все не угомонишься! И почему именно тебя все должно волновать? Господи, пощади и помилуй, уж и не знаю, что делать, совсем рехнулся...»

За что он боролся? Что-то сломалось в нем, исчезло без следа, и только сейчас он заметил это, только сейчас! С какой преступной щедростью разбавил он себя на предначертанном судьбой пути!

Все произошло помимо его воли, и уже поздно что-либо менять. Когда же свернул он на эту дорогу? Может, тогда, когда у них родился ребенок, тем самым вечером, когда он впервые взгляделся в лицо уткнувшегося в анетину грудь младенца? Он и сейчас отчетливо помнит, как опустились разноцветные воздушные занавеси, как возникло и выросло в вечно бурлящем мире маленькое пространство, как оно потеплело, слилось с его существованием, и Ангия навсегда остался в его невозмутимом, отрадном уюте.

Все, что находилось за этими занавесями, стало для него лишь красивым, цветущим полем, которым он любовался из окна своего дома каждый день с утра и до вечера, но — и это тоже он только сейчас понял — повсюду, как панцирь за черепахой, следовало за ним необычное ощущение, возникшее при виде собственного ребенка. Ангия готов был в любую минуту укрыться в своем панцире и не заметил даже, как на его же глазах зачахло и умерло это поле.

Что же заставило его прозреть? Неужели должна была случиться та роковая ночь? Одиннадцать, одиннадцать... Ангия был бы двенадцатым, но спасся, потому что стоял у дверей, потому что...

Но вот он лежит на дне оврага, среди изувеченных трупов, и отчаянно борется со смертью. Все прожитые годы, его семья, его чудом спасенная жизнь.



его любовь обступили Ангию в этой кромешной темноте и чего-то требуют от него. «Ответь, — слышит Ангия, — ответь...»

Он открыл глаза. Погасшему взору померещилось молящее Анетино лицо: Ангия мучительно ищет ответ, но не находит. Сейчас откроется тайна, которую он хранил всю жизнь, хранил для этой минуты. «Я, — произнес он, и внезапно его охватила долгожданная, неиспытанная доселе гордость, — я...» Но ведь и это ложь!

Он всегда боялся прикоснуться к своей тайне, хотя бы как-то приблизиться к мучительному воспоминанию. Все, что не имело отношения к маленькому, уютному миру, уже давно страшило его своей чужеродностью. Даже работа, на которую ходил он каждый день, стала частью его семейной жизни. Каждое утро и каждый вечер он проделывал один и тот же путь по какому-то невидимому коридору и постепенно забывал, что в этом коридоре были и другие двери.

Он пожертвовал ради семьи своим самым дорогим сокровищем — способностью удивляться, благодаря которой до сих пор существовал. Случалось, он лгал, но это была красивая, необходимая ложь, придававшая ему уверенность в собственных силах. Эта ложь укрепляла его любовь, он торжествовал благодаря этой лжи и помогал благодаря ей другим!

Вот его правда! В этой измене самому себе заключалась незыблемость его семьи, как кашеева жизнь — в кончике иглы. Весь мир для него сосредоточился в одной Анете. Любовь к жене погасила все остальные чувства, но в этой любви была раздражающая, сомнительная легкость, которая тревожила его и не давала покоя. Ему казалось, что на одной чаше весов лежат его чудом спасшаяся жизнь, его семья, его любовь, и все это странно взметнулось вверх, к самому небу, а другая чаша упала на дно глубокой черной пропасти. Он каким-то образом должен уравновесить весы своей судьбы. И он совершил измену — немощный мятеж против своей любви!

Порой, когда ему бывало особенно одиноко, измена эта представлялась сном наяву, но очнувшись,

он удивленно постигал, с каким боязливым упорством и мстительной яростью витал он в этом призрачном мире, с каким неистовым отчаянием цеплялся за эти зыбкие тени.

И вот опять идет дождь. Мерцающую в начале темной улицы одинокую лампочку окружают легкие капли дождя, и он входит в ее тусклое сияние — с поднятым воротником пальто, взъерошенный, жалкий. Вот он медленно поднимается по узкой лестнице, останавливается у двери и нажимает на кнопку звонка.

«Кто там?» — раздается знакомый голос, и по всему его телу пробегает изнуряющая сладостная дрожь. Короткий щелчок, дверь слегка приоткрывается, и тут же все исчезает, тает, и Ангия в отчаянии преследует мелькнувшую в дверном проеме и тут же исчезнувшую тень... Так никогда и не сумел он представить себе лицо женщины, ждущей его с таким нетерпением... И вот он сидит, откинувшись, в зеленом кресле, погруженный в блаженную тишину чистой комнаты, и ждет ее...

Но ведь все уже было? Это спокойствие, это ощущение непривычной неги, эта любовь — все ведь было раньше, давным-давно, до того, как он столь безрассудно все растранижил. Это ведь та самая уверенность, которая, бывало, овладевала им в те далекие времена, когда он мог раскопать принадлежащий ему одному таинственный клад. Но хоть это было давно, между ними лишь пронизанный свинцовым туманом миг, и — он только сейчас начинает это понимать, только сейчас постигает это его болезненное сознание — он изменял Анете с ее же двойником, с той Анетой, которой она была двадцать лет назад. И столь всевластной была эта любовь, что он сломя голову выбегал из дому неизвестно куда и зачем.

— Скоро приду...

Анета молча входила в комнату, медленно приближалась к нему, смахивала с плеча упавший волос. Осторожно проводила по пиджаку рукой: «Не опаздывай на ужин, девочка скоро вернется!» — и проводила его покорным, печальным взглядом, и как сквозь пальцы просачивалась куда-то его призрачная измена, все таяло в этой молчаливой, извиняющейся покорности.

— Скоро приду, — повторял он, улыбался и ух-
дил, сам не зная почему, быть может, хотел своим не-
объяснимым уходом напугать Анету, посеять в ней
сомнение в ее семейном благополучии и тем самым
укрепить свою власть — власть хозяина, власть любви,
переполнявшей его сердце. Может, он хотел уйти
для того, чтобы через каких-нибудь два часа прине-
сти извне то, необходимость чего он в ту минуту столь
болезненно ощущал, — свой собственный, чуждый
всем и каждому дух. И до поздней ночи бродил он
по городу.

Все, что он видел тогда вокруг себя, каждый предмет ночного мира был для него таинственным существом, которому он исповедовался в своей настойчивой, необъяснимой и безграничной любви, и потом, по возвращении домой, он виновато смотрел на заждавшуюся жену, подходил к спящей дочери, молча садился на диван и ждал, нетерпеливо ждал вопроса, ответ на который уже давно был им заготовлен: «Это ничего, все пройдет».

«Я люблю! — закричал он однажды в этой тишине, но его крика никто не услышал. — Я люблю, и неужели это ничего не значит?!»

Конечно же, с этим ничего не изменилось. Жизнь шла своим чередом, и две его уютные комнаты по-прежнему были замурованы в другие квартиры восьмизатяжного дома, как маленькая каюта большого корабля, плывущего куда-то вдаль.

Вот он стоит на противоположной стороне улицы у витрины промтоварного магазина и смотрит, как плывет длинное, тяжелое здание в темном пространстве, стоит и ищет среди множества зажженных окон свое — пятое снизу и восьмое справа, — а вот и оно, тускло светящееся оранжевым цветом, от которого по белой стене разливается однообразное монотонное сияние — есть в этом окне что-то особенное, кажется, что этот горящий четырехугольник приобрел черты своего хозяина — Ангия чувствует это сходство, на стене виднеется старая пожелтевшая фотография, а может это выгоревший барельеф на усыпанном могилами кладбище. Его там ждут, и он чувствует, как

медленно и утомительно идет время в этом ожидании. В той квартире, двери которой он сейчас откроет, там, посреди комнаты, в пространстве, пронизываемом мертвенным сиянием телевизора и черными тенями, присутствует и его тень, самая сильная и самая гордая, и ни жена, ни ребенок не могут больше без него...

И он уступил. Уступил ради Анеты, ради Элисо... Мгновенный шелест бумаги завершил все...

Кто-то коснулся его руки.

— Это к вам обращаются.

— ...

— Пройдите сюда. Начинаем съемку.

Ангия в растерянности посмотрел на стоящую перед ним ладную круглолицую женщину.

— Лейла, — обратилась к кому-то режиссер, — приведи-ка его в порядок.

К Ангии приблизилась тощая губастая девушка, поставила на землю деревянный ящичек, выпрямилась, элегантно откинула голову, провела рукой по коротко стриженным волосам, со всех сторон оглядела Ангию, поправила на нем берет, одернула полу пиджака.

— А с ним и возиться не стоит, — задумчиво сказала она. — Ну чем не барон, а?

— Ладно, — сказала режиссер и искоса посмотрела на Ангию, — только идите чуть живее, там, внизу, совершается убийство, убивают человека, вон там, — она вытянула руку, — вы это увидели первым и спешите на помощь, вот отсюда, — теперь она, не сводя с Ангии глаз, вытянула другую руку, — за вами побегут остальные, поначалу вы идете быстрым шагом, а потом бежите, начиная вон с того дерева, понятно?

Ангия кивнул.

— Джимшер! — позвала режиссер и указала на Ангию.

Рядом с Ангией возникла какая-то кокетливая старушка.

— Не бойтесь, — прошепелявила она и взяла его под руку, — смелее! За вами бежим я и этот юноша...

Ангия взглянул на усатого верзилу, который улыбнулся ему, обнажив желтые клыки.

— Да это же Ангия! — удивился кто-то. — Та-
маз, глянь-ка, Ангию привели.

— А-а, психи наперегонки бегают...

— Отстаньте от него, — сказал Джимшер, — зай-
митесь своими делами.

— Он в главной роли?

— Как вы можете, молодой человек, — зашепел
явила старушка. — Стыд какой!

Ангию и Джимшера обступили люди.

— Что там еще стряслось? — поинтересовалась
режиссер. — Джимшер, в чем дело! Почему не начи-
наем?

— Ну-ка, все по местам! — хлопнул в ладоши
Джимшер, который и сам, по всей видимости, не раз-
зобрался в ситуации и теперь с виноватой улыбкой
озирался по сторонам.

— Приготовьте актера! — раздался голос опера-
тора.

Послышался смех. Люди, лениво волоча ноги, под-
нялись по подъему и столпились в начале улицы. На-
ступила тишина.

— Хута! Хута! — разорялся оператор. — Ну ка-
кое время этим заниматься, совсем совесть потеряли?
Погасите свет! — крикнул он кому-то, стоящему на
балконе. — Что за шуточки!

— Да ладно тебе, — сказала режиссер.

— Отстань, Марина, чтоб его...

Режиссер рассмеялась.

— Готово? — громко осведомилась она и, не до-
жидаясь ответа, крикнула: — Хлопушка!

— Сейчас, — низенькая, пухлая женщина впере-
валку заковыляла по подъему, непрерывно повторяя:

— Сейчас, сейчас!

— С ума меня сведет эта женщина! — режиссер
развела руками. — Нуца, ну где же ты!

— Сейчас, сейчас, — приговаривала Нуца, вертя
в руке черную дощечку и перебирая номера. Нако-
нец-то отыскав то, что нужно, она встала перед ап-
паратом, вытянула руку с дощечкой, взяла планку в
другую руку, закричала:

— «Сон». Эпизод «Убийство». Дубль первый! —
и щелкнула планкой.

— Камера!

До Ангии донесся какой-то монотонный гул, нахлынула удушающая, изнурительная волна, медленно растаяла, влилась в тело, расслабила суставы и пресочилась куда-то в землю, оставив после себя знойное, одурманивающее блаженство. Куда-то исчезла черная доска перед камерой, и Ангия увидел раскаленный глаз, который вдруг заполнил собой все вокруг, поглотил в свои магнетические, бездонные недра все силы, все мысли, все его существо. словно сомнамбула, сделал он шаг.

— Блестяще! — донесся до него далекий, льющийся с неба женский голос.

— Пошел! — вновь раздался тот же голос, и тут же медленно тронулся магический глаз, и Ангия, как зачарованный, последовал за ним, не отводя от него взгляда, и почувствовал, как зашевелилось все окружающее, как покосилось взметнувшееся вверх пространство, что-то безмерно раздалось вширь, потеряло границы, все мелькает перед глазами, как погруженные в марево сновидения тени, и остались лишь черная бездонная глубина и этот голос, доносящийся свыше, и сам Ангия, стоящий посреди бескрайнего пространства, перед лицом некоей силы, силы, которой он не смог бы дать название, но все же всем существом своим ощущал ее роковое, магическое воздействие.

И звенели далекие, забытые голоса, возрождалось нечто, погребенное в недрах прошлого, на ощупь прокладывало себе дорогу, и вот оно пришло, оно в этом магическом глазе, во всепоглощающей пустоте которого возникает столь долгожданная сила — его правда!

Берите ее, делите между собой! Вот она перед ним, в его власти!.. Вы слышите эти небесные звуки? Они для него звучат во взметнувшемся вверх ослепительном сиянии и убеждают его в собственных силах для того, чтобы он навсегда запомнил их каждый оттенок и каждое движение своего тела, и вот вырвался на свободу его прежний двойник, навсегда поселился где-то вне его, на виду у этого бездонного, всеобъемлющего глаза, который все запоминает, запоминает...



Сейчас его болезненное сознание не постигало истинной сущности происходящего. Для него не существовало ничего, кроме светлого мира, в котором обитали дорогие, любимые лица и воспоминания, и он одиноко стоял перед этим роковым глазом где-то там, в пропитанной торжественной скорбью комнате, у открытого простыней ложа, на котором покоилось тело Анеты, или до того, в осененных тяжелым свинцовым светом стенах, у постели, слепящей своей белизной, в которой тлел ее тусклый, отчаянно жалобный взгляд, и светилось озаренное раскаянием лицо. Вот, Анета моя правда! Вот та устрашающая, необъяснимая сила, которую я искал всю свою жизнь, чтобы заполнить ею пустоту, непреодолимой преградой вставшую между нами!

Когда ты, вся в слезах, умоляла меня взяться за ум, чего ты больше боялась тогда — того, что с твоим мужем может стрястись беда или что твоя жизнь переменилась? Ты боялась решительности, столь несвойственной мне. Тебя превзошли, и ты ожесточилась. Ты боялась, что моя душа и мое сознание принадлежат уже не тебе. Ты решила, что от решительности один шаг до супружеской измены, ты думала, что больше не существуешь для меня как женщина, потому что возникло нечто иное, покорившее меня. Это нечто было твоим противником. Наверное, тогда ты впервые подумала о том, что мне всего лишь сорок четыре и крепкий, красивый мужчина в этом возрасте вполне способен на супружескую измену. В тебе проснулась женщина, но страх останавливал тебя, и потому ты пыталась притворной мольбой, самоуничтожением, подчеркнутой беспомощностью или равнодушием одержать надо мной победу. И это тебе удалось, ибо ты была не одна! А был ли у вас повод для страха и ревности?

Вы же не знаете, что произошло тогда...

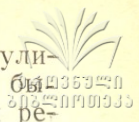
...Тогда он впервые почувствовал то сильное, не испытанное доселе возбуждение. Все существовавшее до сих пор, вся его жизнь встала перед ним и потрясла своей ущербностью и пустотой. И в отчаянной смелости, охватившей его, и в нахлынувшей вслед за

Сосо Пайчадзе. Последний дубль.

ней настороженной предусмотрительности он тут же понял главную, скрытую ото всех причину, которую до конца осознал лишь после, когда все уже кончилось. Он виноватым взглядом обвел собравшихся в комнате друзей и родственников и хриплым от волнения голосом — ему казалось, что он говорит спокойно и твердо, — хриплым от волнения голосом произнес: «Все ложь!» — и во внезапно воцарившейся могильной тишине прорезал слух далекий, уверенный в собственной правоте голос: «Что есть ложь?» «Все!» — ответил Ангия. — Все, что здесь происходит, ложь! И я, — это «я» он произнес особенно громко, и тут же нахлынула на него могучая волна тщеты и раскаяния, — я не желаю торчать здесь как истукан и выслушивать все это». «Присаживайтесь», — вновь донесся до него тот твердый, торжествующий в своей непобедимости голос, и Ангией овладело чувство, словно он медленно и неминуемо погружается на дно океана.

Ради Анеты, ради Элисо! Ангию вдруг охватил страх, потому что он понял, что и его бунт был ложью, которую он не сумел носить до конца своих дней. За пределами этого заряженного напряженным ожиданием молчания, этих привычных, но в то же время чуждых и отрешенных лиц, на которые он не смел взглянуть, но все же ощущал их на первый взгляд сочувственные, но отдающие пренебрежительной иронией выражения, за пределами этой комнаты, пространство которой окутывало его наподобие медленно колеблющейся морской глади, есть его дом, его любовь, его сила, право... Право на любовь... Вот истинная суть вещей! Неожиданно, подобно внезапно пробившемуся из-под земли ручейку, где-то в глубине груди родилось твердое мужское спокойствие и разлилось по всему телу.

Но кто поймет его! Кто узнает о том, какое чувство охватило его однажды, несколько дней спустя, когда, возвращаясь домой, он узнал среди гуляющей по набережной молодежи дочь. Именно в этот момент он отчетливо понял, что в нем что-то изменилось, произошло неосознанное доселе великое ощущение, которое нельзя приписать лишь отеческой любви.



...Ангия стоял на противоположной стороне улицы в тени магнолий и смотрел на дочь. На Элисо было белое платье, через плечо — сумка на длинном ремешке, она гордо шла рядом с каким-то высоким парнем, смеялась, откинув назад голову, и время от времени повисала на руке у своего спутника, и Ангии показалось, что между ними стоял и он, незримый и безмолвный, и даже не он сам, а какая-то принадлежащая ему невидимая сила, тенью парящая между ними. В этой тени сосредоточилось все: его решимость, его страх, его борьба и его уверенность в собственной правоте... И все это отдано дочери, служит ей опорой, придает силы и дарует жизнь.

И вдруг у самого уха Ангии раздался нервический женский крик... «Массовка!» И он только сейчас почувствовал, что сломя голову несется вниз по подъему, болтая в воздухе руками.

— Массовка, массовка! — вновь послышался крик, и тут же уродливым эхом отозвалось гиканье стоявшего на вершине подъема мужчины — «Массовка, массовка!». И это непонятное слово чуть было не повлекло за собой Ангию, и в ту же секунду за его спиной что-то гроыхнуло, раскатилось и поползло вслед за ним. Ангия остановился и увидел комом катящуюся на него толпу: впереди, размахивая руками, бежал громадный бородатый мужчина и что-то кричал, за ним, грозя костлявым кулаком, семенила немощная старушка, потом она отстала и смешалась с толпой. Вперед вырвались двое мужчин в белых кителях — один из них бежал прихрамывая и описывая несгибающейся ногой в воздухе огромные полукруги, другой неся колоссальными шагами.

Они настигли его! Настигли! Вновь поймали на преступлении, как карманника среди бела дня. Какова наглость! Этот вор крадет не только деньги, он состязается с какой-то безнадежно погасшей в каждом из них силой и издевается над ними, и люди вспоминают о существующих за пределами каждодневности желаниях и досадуют, злятся и восстают — не против воровства, а против самих себя, против прожитых дней, похожих друг на друга.

в свинцовое пространство, словно боясь своей тяжестью примять утешительную красоту, наполненную обнадёживающим мерцанием лампочек. Время от времени сумерки, пронизываемые немощным сиянием реклам и тусклых витрин, озаряли искры бигелей или блестящий автомобиль вздрагивал на перекрестке, освещая лучами фар короткий отрезок улицы и высвечивая бутафорские фигуры прохожих, потом в мгновение ока все вновь покрывалось завесой тьмы, и тогда взор Ангии устремлялся вдаль, к веерообразному сиянию на окраине приморского парка, высвечивающему из темноты разноцветную танцплощадку, к сиянию, медленно, но неминуемо обволакивающему все окрест.

Кто ты есть перед лицом этого ослепительно сверкающего мира и ночного пространства, которое напугается у тебя на глазах так, что готова разорваться в клочья тончайшая пленка — невидимая стена, разделяющая твой день и ночь?

«Все ложь, — закричал он, — все, и я не хочу, чтобы...» — «Присаживайтесь», — прервал его далекий повелительный голос, и Ангия сел, и ему показалось, что он погружается на дно океана.

Никто не знает, что почувствовал он однажды, ранней весной, когда пробуждалась природа, когда от улиц, окрашенных, словно разноцветной эмалью, звонким смехом и пропитанных ласковыми солнечными лучами, исходил пряный аромат, когда все приходило в движение и присутствующая в этом дурманящем окружении какая-то невидимая, трепещущая сила с разнузданной ловкостью поглощала все окружающее в свои страстные недра, когда Ангия чувствовал, как торжествовала эта всеобъемлющая и вездесущая животная сила, как она сминала и изничтожала его спокойствие.

Может, и это лишь померещилось ему? Может, это только плод его болезненного сознания? Но сейчас он отчетливо чувствует, что следовала за ним по пятам эта злополучная сила и бесстыдно требовала мзды за каждый сделанный шаг.

Он засунул руку в карман и крепко сжал в кулаке замусоленные деньги... В них заключена его доля окружающего мира, всего, что он видит сейчас ~~сейчас~~ ^{здесь} вокруг себя: неба, земли, вечного движения и изменения.

Вот торопится куда-то улыбающийся парень в куртке нараспашку, вот пересекает улицу сухонькая, одетая во все черное старушка, она предусмотрительно оглядывается по сторонам, но тем не менее чуть было не оказывается под колесами красного фургона и, ухватив рукой полы пальто, быстрыми шагами перебегает на противоположную сторону улицы; потом проносится черная машина; Ангия успевает заметить лишь блондинку на переднем сиденье и уловить рвущуюся из открытого окна мелодию — «ла-ла-ла», как раздаются ужасный грохот, звуки разбиваемого стекла, женский крик, и Ангия оглядывается: зеленая, обшарпанная машина врезалась в автобус... По фиолетовому небу медленно плыла огромная серая туча, волоча за собой все то, что заключалось в маленькой кучке бумажек, лежащих у него в кармане, — выпавшую ему на долю радость, его право, каждый его шаг, его утро и его вечер. Вот он стоит у маленького окошечка, упираясь локтями в подоконник, и наблюдает за тем, как полная женщина в очках прилежно считает разноцветные бумажки и аккуратно складывает их в стопочку... Ангия встречается с ней два раза в месяц, два раза в месяц видит в маленьком окошечке ее лежащую на кромке стола грудь, похожую на стога сена, широкие плечи, короткие руки и несоразмерно тонкие пальцы, словно нарочно созданные для того, чтобы отсчитывать деньги, полную шею, большой чувственный рот. Потом женщина поднимает голову, стремительным движением схватывает со стола небольшую стопку и кладет на подоконник. И есть в этом какая-то непреходящая, самим существованием Ангии обусловленная необходимость, нечто принадлежащее ему от этой странной, всеподчиняющей силы, везде и всюду преследующей его. Потом он подчеркнуто равнодушно берет эту легкую стопку, не считая кладет в нагрудный карман и чувствует, как наполняется все его существо тяжелым, грустным спокойствием и устойчивостью, как каждая клеточка его тела невидимыми щупальцами прирастает ко всему.

что предстает перед ним: к угрожающе острому углу розовой стены, к шершавой поверхности расстеленного на полу ковра, он различает шорох шагов по нему напоминающий поскрипывание снега под сапогами, в гранитных ступеньках лестницы и блестящих перилах сосредотачивается вся суть этого тяжелого, пронизанного кафедральным молчанием здания, Ангия чувствует добротность ступенек, со всей силой налегает на широкие перила так, что напрягаются жилы и кажется, что тело его рассыпается, и очутившись наконец на улице, он стремительно вливается в водоворот тел и предметов.

В этой кучке бумажек заключены его душа и тело, его любовь и его семья. Вот мера его любви, его права на любовь! И вот он стоит перед ящиком с мигающим глазом, гордо и уверенно достает из кармана отливающую золотом монету, медленно опускает в узкую щель, в тот же миг раздается в ее таинственной глубине короткий лязг, и воцаряется следом многозначительное молчание — невидимая хищная птица ударила Ангию могучим клювом, вонзила в него стальные когти, в мгновение ока поглотила вырванный из его тела кусок мяса — Ангия бросил оценивающий взгляд на затаившиеся, подобно цепным псам, автоматические щеколды, ловко ускользнул от нахлынувшего на него мгновенного страха (из подобных мгновений и состоит вся наша жизнь!), шмыгнул через турникет и с облегчением вздохнул — путь открыт!

Кому ты должен? Кому ты должен с самого момента своего рождения и чей долг выплачиваешь по частям в течение всей жизни? У кого выпрашиваешь ты право на любовь, которую полнится все твое существо...

— Массовка! Массовка! — раздался вдруг резкий голос, и Ангия очнулся и огляделся по сторонам. В мутном свете дня, мерцая, как медузы в водной глубине, мельтешили перед глазами потные лица.

— Бегите, пожалуйста, не останавливайтесь, бегите!

«Все ложь! — закричал он. — Все, и я...»

«Присаживайтесь!»

...От омерзительного пошла у него раскалывалась голова. Он погружался в глубину пропитанной табачным запахом комнаты, и гвалт подвыпившей компании отдавался в ушах, подобно рокоту морского прибоя. За столом, уставленным грязными тарелками, сидели шестеро. Ангия видел, как они тщетно старались позабыть о постылых привычках будней, желая найти в себе нечто своеобразное и неповторимое, как они старались шутить и веселиться...

— За здоровье Ангии! — сказал тамада и взял стакан в руку. — Я люблю нашего Ангию, — сказал он после непродолжительного молчания. Ангия затаил дыхание, искоса посмотрел на тамаду и зажмурился. — я люблю нашего Ангию, потому что он добрый, отзывчивый человек, живет себе поживает и мухи не обидит, и подлости никому не сделает. Мы любим тебя, дорогой Ангия, будь здоров. Дай бог счастья твоей семье, будьте счастливы! Ну, сам знаешь... — Тамада подмигнул Ангии и осушил стакан. «Будь здоров!» — сказал сидящий рядом с тамадой человек, задумался и, чтобы сгладить неловкость, улыбнулся, поднял полный бокал, одним глазом посмотрел сквозь него на свет; потом поставил обратно на стол и скривил губы («Бегите! Бегите же! Ну и тип! Оглох, что ли? Беги же!» — кто-то сильно толкнул Ангию в спину так, что он чуть было не упал. — «Актера не видно! Где актер!»). И вновь ударил ему в голову хмель. Мы ничего не замечаем! Мы ничего не знаем! Ничего не произошло! Ты снова прежний Ангия! Почему он не опрокинул стол, почему не закричал на них, почему не набил им всем морды, почему не сопротивлялся силе, которая отнимает у него все и попирает его... — во всем, что окружало его, в каждом предмете и каждом ощущении, которые он считал своей собственностью, присутствует и какая-то иная сила, из каждой вещи наблюдает за тобой таинственный взгляд — глаз незнакомца и глаз близкого человека, глаз усопшего и глаз здравствующего — и никто не даст тебе долгожданного права повелевать, права на любовь, которою переполнено твое существо, и ты должен многое смять на своем пути, если хочешь приобрести свою любовь и свою независимость. Но невозможно подчинить себе все сущее. Невозможно под-

чинить себе неуправляемую силу, которая сложила твой дом, которая воздвигла этот город, создала окружающие тебя предметы. Твоя любовь тоже создана этой стихией. Ты в долгу перед окружающим тебя миром и каждый день, каждый миг, на каждом шагу платишь этот долг и никогда тебе с ним не расквитаться. И если тебе кажется, что кто-то стоит у тебя на пути, — это из-за твоего страха перед долгом — если ты хочешь иметь право на любовь, — освободись от него! Сотвори миг, который освободит тебя от страха. Один лишь миг, который станет твоим на всю жизнь! Всего лишь один миг!.. Кто же это теребит его за рукав, нашептывает что-то на ухо и вертит стаканом у него перед глазами? Кто этот слюнявый тип, стоящий у него за спиной и обнимающий его за плечи?.. «Я ухожу!» — крикнул Ангия и вскочил со стула. «Да подожди ты!» — «Ухожу!» — упрямо повторил Ангия и направился к двери, с трудом прокладывая себе дорогу между столами и стульями. Все кричали что-то и оглушительно хохотали. «Не хочу! Не хочу!» — вопил одноглазый золотушный урод и размахивал руками. Ангия зацепился за угол стола и чуть было не опрокинул его. «Эй!» — крикнул кто-то и вскочил, но Ангия не оглянулся, взбежал по ступенькам и толкнул дверь. Возникшая под ногами ниточка света в мгновение ока попятилась назад и переступившего порог Ангию поглотила глубина темной улицы. Ему показалось, что у него за спиной, там, где раньше был подвал, возникло безвоздушное пространство, что-то, шурша, вознеслось в воздух, толкнуло его сзади, он встал на цыпочки и, чуть было не потеряв равновесие, безотчетно посмотрел вверх, на одиноко горящее в ночи окно, и тотчас же все встало на свои места.

Стоп!

И Ангия застыл на месте, как пораженный громом.

Неуклюжий оператор выпрямился, лениво оправил вылезшую рубашку, почесал голое пузо и в сердцах сплюнул. Режиссер в отчаянии развела руками, растерянно огляделась по сторонам, словно принося извинения, прыгнула с тележки и, не сводя с него глаз, уверенными шагами направилась к Ангии.

— Выключите свет! — послышался чей-то голос, и растаяло сверкающее сияние, исчезло куда-то быстрой молнии вздыбленное пространство, провалилось в преисподнюю, и внезапно наступившую темень обволокло усыпанное звездами небо.

— Включите дежурный! — вновь раздался тот же голос, и воцарившуюся на миг тьму пронзила яркая косая полоса и упала на серую стену, а где-то вверху бескровно сквозил в одном из окон тусклый, умиротворяющий и безмятежный свет.

— Вы не поняли меня, — сказала режиссер Ангии. — Вам нужно бежать вниз, надо нагнать этих людей и смешаться с толпой, когда снизу пойдут машины. Мы же кричали вам, чтобы вы бежали!

Ангия кивнул.

— Как дойдете до того дерева, бегите что есть силы. Бегите и смешайтесь с толпой, как только увидите машину.

— Марина, — окликнул ее оператор, — давай оставим его в покое, видишь, ничего не выходит. У ребят смена заканчивается.

— Какая еще смена? — удивилась режиссер. — Не сводите меня с ума, пожалуйста!

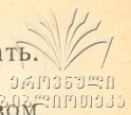
— Осветители уйдут. Я не могу их задерживать, — оператор развел руками. Режиссер некоторое время в задумчивости разглядывала Ангию, потом повернулась и подошла к оператору.

— Ты что, не понял? Мне нужно его лицо крупным планом. Вот так, — женщина слегка согнула руки и всем телом повернулась на месте. — Хотя бы тридцать метров. Ну где еще отыщешь такое лицо?

— Ясно, — равнодушно ответил оператор, — а что если пустить его под конец? Пусть бежит последним, а как добежит до дерева, пусть развернется на тридцать градусов. Будет еще лучше. Идет?

— Идет, — ответила режиссер и подошла к Ангии. — Знаете что, — робко сказала она, — вы подождите, пусть бегут эти люди, а потом с маленьким интервалом побежите вы. А как добежите до этого дерева, повернитесь лицом к камере, а потом снова бегите, когда пойдут машины. Понятно?

Ангия еле заметно кивнул.



— Мы вам подсказем, когда нужно будет бежать.

Джимшер, объясни, — добавила она и отошла.

Вокруг Ангии собрались люди и с любопытством его разглядывали. Ангия, низко опустив голову, побрел вверх по подъему.

— Вы бежите последним? — пристал к нему старичок в белом кителе.

— Да, после нас, — ответил кто-то вместо Ангии.

— Сначала мы, а потом он. Изменилась мизансцена.

Слово «мизансцена» было произнесено с особым ударением.

Ангию схватила за рукав пожилая женщина.

— Вы меня не узнали, — у нее на лице появилась мертвенная улыбка, — мы ведь с вами знакомы.

Ангия недоуменно уставился на нее.

— Ну что, узнали? — вновь спросила старушка, приблизилась лицом к его подбородку и взглянула на него потухшими глазами.

Ангия ей бессмысленно улыбнулся.

— Ну вот видите, — обрадовалась старушка, взяла Ангию под руку и, тряся головой, пошла с ним рядом.

— Ступайте наверх, — окликнул их Джимшер.

Ангия остановился под деревом.

— Не бойтесь, — сказала ему старушка и сочувственно пожала ему руку. — Я пойду, а то скоро начнется.

Ангия чувствовал, что по его вине что-то не получилось. Ведь режиссер сказала ему: «Вы подождите. Пусть сначала побегут эти люди, а потом вы...»

«Вы устали и нуждаетесь в покое, — сказала ему врач в белом халате, — отдохнете у нас, и все будет в порядке...»

Все... Все...

Омытый дождем асфальт дышал ему в лицо прохладой и влагой. В ушах по-прежнему стоял гул винного погреба, голова раскалывалась. Перед глазами бесцветными пузырями проплывали окутанные табачным дымом хмельные лица. На противоположной стороне улицы, вдоль клином врезавшейся в море пристани, тускло мерцали лампочки, и их спиралеоб-

разное сияние отражалось на поверхности воды, и казалось, что в море плавают бесчисленное множество золотых пиявок. Ангия посмотрел на часы в куполе здания вокзала и с трудом разглядел в темноте стрелки. «Почему не горит свет?» — вслух подумал он, да так громко, что отозвавшееся где-то в глубине его существа эхо чуть было не оглушило его. Ангия посмотрел на погасшие лампы. Мерцающие лампочки показались ему белыми птицами на фиолетовом фоне моря, которое, подобно магниту, влекло его в свою бездонную глубину. И вдруг Ангией овладело странное, тревожное ожидание, он поднял голову и тотчас увидел, как промчалась по противоположной стороне улицы вдоль мостовой полоса света, словно по внезапно осветившейся улице пробежала дрожь, как нависшее над дамбой пространство почернело и провалилось куда-то, и улица накренилась, подобно весам.

Им овладело какое-то знакомое ощущение, и он тут же вспомнил: так качается, бывает, театральный зал, когда гаснет свет и предвещающий таинство занавес медленно уплывает вверх, обнажая яркую сцену.

И проснулось в нем болезненное видение, о существовании которого он и не подозревал тогда, не заметил того, чему суждено было навсегда поселиться в его существе и повлечь его к неминуемому итогу. Это видение медленно прорастало в нем корнями и ждало лишь последней вспышки его болезненного духа.

Ангии больше ничего не было видно. Вокруг столпился народ. Люди суматошно перебегали с места на место, предупреждали о чем-то друг дружку и напряженно смотрели куда-то вдаль. Ангия сделал шаг, но его кто-то схватил за руку.

— Пока рано, — строго сказал ему Джимшер, — когда надо будет — скажу.

— Почему? — спросил Ангия. Джимшер удивленно посмотрел на него. Он впервые слышал голос этого человека и был поражен его раздраженным, угрожающим тоном.

— Так надо! — громко сказал Джимшер.

Ангия вырвал у него руку и прислушался. Издали донесся до него усталый женский голос:

— «Сон». Эпизод «Убийство». Дубль второй!

— Камера!

Стоявшая впереди группа людей дрогнула, рассыпалась, потом вновь сплотилась.

На черный, как деготь, асфальт кое-где падали проскользнувшие между телами острые колющие лучи света. В Ангии вновь медленно просыпалось тревожное ощущение и возвращало в желанное прошлое. Но прошлого уже нет, все в настоящем, все обступило его в этом непонятном ему окружении, стоит лишь протянуть руку и...

Вот и утро.

Он медленно поднялся по лестнице, толкнул тяжелую дверь и вошел в вестибюль. В здании тихо и прохладно. Кто-то умер. Вывешенный на доске объявлений листок гласит: «У счетовода Ионы Немсадзе скончалась жена Ивлита (Машо) Небиеридзе. Панихида... Похороны...» Ангия так и не вспомнил этого Иону Немсадзе и поднялся по лестнице на второй этаж.

Заметив в одной из дверей Николоза, с головой влезшего в шкаф, полный бумаг, Ангия остановился.

— Здравствуйте, батано Николоз!

— Приветствую. Ну, как дела? Небось, так себе.

— Так себе.

— Таксебее, таксебее, — пропел Николоз, — покоя от этих бумаг нет, чтоб им пропасть...

Из шкафа выпал увесистый сверток и грохнулся на пол, подняв облако пыли.

— Тьфу ты, чтоб... — выругался Николоз и лениво наклонился...

Ангия по-прежнему стоял на пороге.

— Скажи своему начальнику...

— Что мне ему сказать, батано Николоз? — У Ангии перехватило дух от внезапно нахлынувшего волнения. Он поспешно сделал шаг вперед и почувствовал, как запылало у него лицо. — Ни-ко-лоз, — с дрожью в голосе по слогам произнес он, приблизился к сидевшему на корточках Николозу и наступил на разбросанные по полу бумаги.

— Ты чего?

Ангия пинком загнал сверток под шкаф.

— Ты что, спятил? — закричал Николоз, хотел было встать, но Ангия схватил Николоза за шею и зажал

его голову коленями. — Ты что творишь! Ты соображаешь, что ты делаешь? — с трудом прохрипел Николоз и беспомощно дернулся.

— Ничего я не делаю, — спокойно промолвил Ангия и выскочил в коридор. Как в лихорадке трясло его от ощущения тщетности и унижительного бессилия. Он толкнул дверь и вошел в комнату.

— Приветствую вас! Вы что, решили задохнуться?

В комнате сидели четверо мужчин и одна женщина. Все курили.

— Анги, подойди ко мне, — сказала Анико, — как ты поживаешь, мой хороший?

— Хорошо!

— Ишь ты!

— Хорошо! — повторил Ангия.

— Однако! — вновь удивился кто-то.

— А вы? — спросил Ангия. — Как вы поживаете?

— Здорово, — сказал Шота, — как львы.

— И куда же вы смотрите?

— Чего?

— Вы что, этого не видите? — Ангия подошел к Анико и похлопал рукой по ее голому колену.

— Нахал! — закричала Анико в ярости.

— Поглядите-ка на этого прохвоста! — Нугзар встал, нервно раздувая ноздри длинного носа, на лице его появились багровые пятна.

Ангия расхохотался, попятился назад, спиной толкнул дверь, вышел из комнаты и сразу же наткнулся на Бичико, который бежал по коридору, перебирая на ходу какие-то бумаги.

Ангия поздоровался с ним за руку.

— Как жизнь?

— Потихоньку, — сказал Бичико и собрался бежать дальше.

— Куда торопишься? — не отпускал его Ангия. — Куда торопишься, блоха!

Бичико кивнул ему и помчался дальше. Потом внезапно остановился и обернулся.

— Что ты сказал?

— Блоха, говорю! — закричал Ангия.

Бичико снял очки, вытянул шею и направился к Ангии, как страус переставляя свои длинные тощие ноги. Ангия впервые видел Бичико без очков, и внезапно



ему стало противно при виде его непривычного, болезненного и отталкивающего лица.

— Что ты сказал? — Бичико выпучил близорукие глаза.

Ангия потрепал его по щеке и взъерошил волосы.

— Хороший ты человек, — сказал он ему, — но блоха.

Бичико от неожиданности вовсе лишился дара речи. Ангия еще раз потрепал его по щеке и заглянул в дверь канцелярии.

— Вера Матвеевна!

— Да!

— ...

Это была игра, бессмысленная, дурацкая игра. Он и сам не знал, что это вдруг пришло ему в голову, но отступить было уже поздно. Его охватило неотступное, отчаянное желание что-то спасти, он должен был сохранить клад, владельцем которого стал столь неожиданно, клад, который пытались вероломно отнять у него. Его не оставляло леденящее сердце ощущение тщетности всего содеянного, ко всему прочему прибавлялись воспоминания о вчерашней ночи: он стоял на столе посреди темной комнаты, держа в руках перегоревшую лампочку. Из кухни доносился лязг ножей и вилок и мучительное журчание льющейся из крана воды — Анета, тихо напевая какую-то мелодию, готовила ужин. А потом во внезапно нависшей тишине послышалось шлепанье тапочек по паркетному полу. Он посмотрел в спальню и на фоне розовой занавески увидел голую Элисо. Она стояла перед зеркалом, закинув руки за голову, и медленно покачивалась в пропитанных сиянием торшера сумерках.

Потом Ангия стоял на солнечной лужайке; высокая трава доставала ему до пояса, и он ощущал дурманящий, терпкий запах полевых цветов. Шелестел прохладный ветерок. Ангия видел его, когда он своими серебряными крыльями касался стеблей травы, и не удержался, сорвался с места, погнался за ним, с трудом продираясь сквозь непролазные дебри, и вдруг провалился в черную бездну, и вот Ангия уже парит в бездонной пропасти, он боится этой черной беско-

нечности, старается ухватиться за что-то, но не находит опоры. Вдруг в этом ужасающем склепе проносится чья-то тень. Анета! Как она очутилась здесь! На ней пестрое платье, ей очень идут гладкие, собранные в узел волосы. Но что это? С мольбой или с улыбкой протягивает она ему руку? Ангия не может понять и кричит, и внезапно опускается на дно, в пропитанную рододендроновым сиянием сумрачную комнату, мягко погружается в ее знакомое, отрадное спокойствие и закрывает глаза. Кто-то касается его, кто-то стоит рядом, он тонет в ядовитом жаре обнаженного женского тела, и у него вырывается отчаянный крик: это же Элисо! И сон... Сон... Сон... Он просыпается, просыпается... И вдруг в удушающей темноте комнаты он услышал биение своего сердца, такое громкое, что испугался, как бы не разбудить Анету. Это был сон... Сон...

— Ты что вытворяешь! — строго произнес Михаил.

— Что?

— Ты что вытворяешь, я тебя спрашиваю? Всегда спятил, да?

— Не будем сейчас...

— А когда же... Ну, что тебе надо? Ты думаешь, все должны тебе в ножки кланяться и стелиться перед тобой? Ты же разумный человек, и не к лицу тебе все это! — Михаил встал и прошелся взад-вперед по комнате. — Знаю я, чего ты хочешь!

— Не знаешь! — отрезал Ангия.

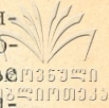
— Знаю! — закричал Михаил, и голос у него задрожал. — Но ничего у тебя не выйдет!

Ангия сидел, затаив дыхание. «Кричи! — думал он. — Кричи и рушь все!».

— Ты нас дураками считаешь, да? — Михаил понизил голос. — Хочешь быть лучше всех, да? Сорвать пять уже стукнуло, а ни бельмеса в жизни не слышишь. Чего пристал к людям? Чего тебе надобно? Оставь нас в покое! Устали мы от тебя!

О, как увеличивается эта бездонная пропасть, как разверзается все шире и шире ее черная бездна!

Время, столь бесконечное когда-то, столь тягостно медленно разливающееся в нем, внезапно вновь оставило новилось, застыло вокруг огромным прозрачным айсбергом, и Ангии, замурованному в его звонко-кри-



стальном, лазурном лоне, слышится лязг ножей и виллок, надоедливое журчание воды и пение — Анета готовит ужин на кухне, а из спальни доносится шлепанье тапочек — Элисо только что вышла из ванны и, наиверное, вертится у зеркала — и в этом обычном вечере, в этих привычных звуках, которые всегда надеяли его желанными уверенностью и равновесием, сейчас присутствовало иное, давшее трещину спокойствию... Элисо стояла у зеркала, закинув руки за голову, и медленно покачивалась. Ангия растерялся, отвел взгляд, встал на цыпочки, ударился головой о люстру, медленно ввинтил лампочку в патрон, отряхнул ладони и собрался спускаться. Элисо по-прежнему покачивалась у зеркала. На ее согнутые в локтях руки падал оранжевый свет, освещая натянутую под мышками кожу и упругие, похожие на апельсины, округлости груди. Прямая, чуть вогнутая, как тетива лука, спина, ровная линия длинных, сильных ног и печальное, со следами тайного страха и раскаяния, но ждущее, ждущее чего-то выражение лица! У Ангии и сейчас стоит перед глазами это испуганное, взволнованное ожидание, упорхнувшее в открытое окно куда-то вдаль, за пределы этих уютных стен...

И внезапно охватила его жгучая ревность ко всему окружающему: к телевизору на низком столике, красному телефону на блестящем треножнике в глубине спальни, открытому окну с развевающейся воздушной занавеской, обрывкам доносящейся песни Анеты, вызванная каким-то отстраненным от всего и совершенно неведомым Ангии желанием к дочери, чужими глазами оценивающей свое тело.

И Ангия стоял посреди комнаты на столе, лишенный опоры, наподобие легкого мячика, подбрасываемого вверх струей фонтана, и внезапно нахлынуло на него желание кричать, бесноваться, повелевать, чтобы своими правомочиями растоптать эту чуждую силу, — он спрыгнул со стола, беспомощно застыл посреди комнаты, как гранату держа в руке перегоревшую лампочку, и почувствовал, как его покидают силы, но постепенно овладевало им еще более острое, неощутимое доселе властное желание — с невероятной

болью от него отделилась и встала рядышком, какая-то бесформенная и бескровная масса, какой-то урод...

Неужто и это ложь! Неужто и этого не было! Нет, он действительно стоял посреди темной комнаты и отчетливо чувствовал, как стояло рядом бессмысленное тело, как опустошалось все его существо, как падалась величайшая гармония, и он возненавидел этого оставшегося на доньшке вселенной одинокого человека.

— Так-то, брат, — расслышал он поникший, несколько удрученный голос Михаила. Ангия решительно встал, открыл дверь, быстро прошел по коридору, сбежал по лестнице и выскочил на улицу.

Он знал, что поступает необдуманно, но уже не мог владеть собой. «Ее не будет дома! — вдруг пронзила его мысль. — Не будет!» Ангия почувствовал угрызения совести, но и это уже не могло его остановить. Он бежал, ища глазами свободную машину, и, как смерч, неслась за ним всепопирающая ревность.

Ангия торжествовал, лелея в душе расковыривающую неведомую силу, и переполнялся не испытанной доселе гордостью и довольством, а вне его существа, за пределами изнуренного сознания, полыхал разрывающий сердце упоительный восторг.

Из-за поворота, урча, выполз переполненный автобус и остановился. Ангия с трудом нашарил поручень среди приплюснутых друг к другу тел, крепко ухватился за него, со всей силой навалился на чье-то толстое бедро, схватился за поручень другой рукой и влез на подножку. Тотчас же с грохотом захлопнулась дверь. Какой-то толстяк подался назад и почти что сел Ангии на грудь.

Ангия беспомощно дернулся, потом кое-как примостился между женоподобным бедром толстяка и животом сидевшего на спинке кресла кондуктора, прильнул к металлической стойке, чувствуя над головой тяжесть чьей-то просторной груди. И почему Ангия вдруг подумал о смерти? Плотью и кровью ощутимыми знаменениями предстало перед ним существование неимоверного, ужасающего, но в то же время предельно явного состояния, сути которого он поначалу не сумел постичь, но твердо знал, что оно есть смерть, — и его

охватило ощущение некоего неминуемого конца (и куда это тащится автобус?).

Кто-то толкнул его и ударил по голове.

— Гражданин, ваш билет! — кондуктор насмешливо шурил бесцветные глаза. Толстяк по-прежнему спокойно восседал у Ангии на груди. Ангия всем телом налег ему на спину.

— Приподнимись немного! — вдруг закричал он. Толстяк с трудом повернул шею и невозмутимо спросил:

— Что такое, дружище?

— Поднимись!

— Куда? — столь же спокойно ответил тот.

— А мне что делать? — заорал Ангия и сам испугался собственного голоса. — Что мне делать?

— Ты чего разорался? — вновь повернул шею толстяк. — Сейчас остановимся, и ты у меня попляшешь...

— Я тебе покажу, — взъярился Ангия и что было силы толкнул его в спину. Толстяк и вовсе сел на Ангию и прижал его к двери.

— Эй, водитель, останови машину! — завопил кондуктор.

Автобус остановился.

— Откройте двери, — закричал Ангия.

— Задние открой! Задние! — слышались крики. А толстяк тем временем все сильнее наседавал на Ангию, и тот, как только открылись двери, выскочил из автобуса и схватил толстяка за штанину.

— Вылезай!

Толстяк, не ожидавший от Ангии столь решительных действий, в растерянности оглядывался и отпихивал его ногой.

— Вылезай! — скрежеща зубами, процедил Ангия. — Вылезай, я тебе...

— Езжай, езжай! — кричали водителю.

Автобус тронулся. Ангия и не пытался влезть в него обратно, его пыл постепенно угас, и, повернув направо, он пошел по взбирающейся в гору улочке.

Все кончено. Тот мгновенный шелест бумаги завершился все. Что это было? Что ему было нужно? Ни-

кому не понять причины его внезапного бунта. Да он и сам не может постичь сути тех дней. Все казалось сном, длинным бредовым сном. И вот все кончилось.

Какая сила движет им сейчас? Какая надежда теплится в душе? «Быстрее!» — приказал он сам себе, но это был уже не его голос. Человек в сванской шапочке напряженно смотрел на дорогу: «Быстрее! — говорил он шоферу. — Быстрее!» Там, внизу, на дне темной пропасти, во власти смерти находились одиннадцать человек. Одиннадцать... Одиннадцать... Ангия был бы двенадцатым...

Его сознание не в силах было ощутить рокового расстояния, разделявшего две эти цифры, расстояния, которому суждено было оправдать все — его жизнь, его борьбу, его поражение... И вставали перед глазами накренившаяся гора, топорщащиеся силуэты взметнувшихся в небо деревьев, обезумевшие глаза женщины с младенцем, упавший с кресла головой оземь белобрысый мальчонка, судорожно вцепившиеся друг в друга молодожены, огненный раскат отчаянного воя и земля — влажная, словно прошитая тоненькими ворсистыми корнями трав земля...

Он взбежал по ступенькам, отдышался у двери, поднял руку к звонку, но передумал, нашарил в кармане ключи, отпер дверь, вошел в переднюю, вышел на кухню, в лоджию, потом в гостиную и направился к спальне.

— Элисо! — откуда-то издали донесся до него Анетин голос. Он толкнул дверь и остановился. Анета лежала на кровати и читала. При виде Ангии она испуганно отбросила книгу в сторону, неосознанно прикрыла ладонями обнаженную грудь, но тут же опустила руки и уставилась на мужа: «Это ты?» Ангия заметил ее произвольный стыдливый порыв, и вновь взорвалась в нем беспричинная ревность, он бросил взгляд на книгу, желая прочесть ее название, но, так и не разобрав его, вновь упрямо уставился на обнаженную Анетину грудь. «Что случилось?! — спросила Анета, оправивла платье и провела рукой по сбившимся волосам. — Какой час?».

Нет, это не было безумием.

«Убью!»

Это спасло бы его! Должен был исчезнуть главный свидетель его поражения, тот, для которого он жил и которого он силился спасти своим ничтожным и жалким бунтом! Только в этом спасение! Только это по-ставило бы все на свои места, вновь вернуло бы ему заветное спокойствие. Только убийство избавило бы его от невыносимой каторги!.. Ангия яростно ухватилась за спасительную мысль! Все исчезнет: и разрушительная ревность, и любовь, и неведомая сила, попирающая его своей могучей, всеобъемлющей властью. Эта смерть спасет его, как спасла уже однажды смерть девочки-сиротки, сохранив в нем любовь, заставляющую сомневаться в собственных силах.

И он понял, за чем он пришел. Он пришел за правом на любовь, за правом повелевать! Он в безумии огляделся по сторонам, впился руками в изголовье кровати и стал яростно ее раскачивать, потом кинулся к Анете и набросился на нее, срывая одежды. И Анета женским чутьем поняла все, испуганно взглянула на мужа, дернулась в попытке высвободиться, но Ангия по-прежнему не отпускал ее. «Пусти!» — закричала она и обеими руками уперлась Ангии в грудь. Но Ангия уже ничего не слышал. Потом все исчезло: и кровать, и Анета — все, и Ангия почувствовал, как возвращается к нему былое, столь томительно ожидаемое могущество, вселяющее уверенность в собственных силах. Весь мир, вся вселенная лежала у его ног, и он повелевал, властвовал, любил...

— ...Быстрее, быстрее! — донесся до него уже слышанный где-то нервный голос. — Не останавливайся!

И вот вновь преследует его магнетический глаз.

Он один, один! Впереди покачиваются зигзагообразные тени бегущих людей, Ангия же стоит один, он отличается ото всех! И вся его жизнь стоит у него перед глазами: и Анета, и Элисо, и его дом, каждый прожитый день, каждый миг!

— Быстрее, быстрее! — кто-то подгоняет его...

И Ангия сделал шаг, медленно пошел навстречу магическому глазу. Вот он приближается к нему, приближается, но глаз постепенно катится назад, и Ангия прибавляет шаг и бежит сломя голову. Вот он уже

на лестнице, из открытых дверей доносится до него тихий Анетин окрик: «Ангия! Ангия!», но он, так и не оглянувшись, выбегает из подъезда на озаренную солнцем улицу...

Прохладной дрожью отзывается в теле влажное дыхание политой улицы, будто кто-то проводит по нему невидимой, холодной и мокрой кистью — снизу вверх, снизу вверх. И он расправил плечи, вскинул голову, пробивающиеся сквозь ветви акации солнечные блики показались ему парящими в воздухе мыльными пузырями, а над головой послышалось глухое хлопанье крыльев — это кто-то выбивает на балконе ковер, и короткие, отрывистые удары вдруг наполнили миг, насыщенный солнцем и мельтешащими перед глазами разноцветными шарами, тем единственно необходимым звучанием, которого недоставало его болезненному сознанию, и Ангия вдруг почувствовал, что обретает долгожданную свободу, посмотрел вверх, желая отыскать глазами балкон и стоящего на нем человека, и внезапно пронзила его мысль о том, как все это было высоко, очень высоко, и стены, и окна, и развевающееся на ветру мокрое белье, да и тело его огромным облаком плыло над землей, но теплившийся инстинкт самосохранения извлекал из глубины его сознания короткие глухие удары, дабы он, человек, не исчез навсегда из этого взбунтовавшегося мира. Но и эти звуки вдруг исчезли, словно оборвалась туго натянутая веревка, — и Ангия улетел куда-то ввысь, как воздушный шар.

— Стоп!

— Никуда не годится! Никуда! — кричит оператор. — Это псих какой-то.

— Ладно, оставим его в покое, — сказала режиссер, — ничего не выходит, еще один дубль — и все.

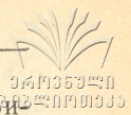
— Поторапливайтесь! — кричит оператор. — Последний дубль!..

— Еще не кончили? — ворчит кто-то. — И чего это с я с ними связался?

— Пусть будет свет! — кричит оператор. — Не гасите, вам говорят!

— Отойди! — сказал Джимшер Ангии.

Ангия встал на свое место под деревом.



— Можешь идти, — не отставал Джимшер, ты свободен.

— Гляди-ка, не уходит, — съязвил кто-то. — Видать, ему здесь понравилось.

— Приготовились! Все по местам! — вопил кто-то холодным, как сталь, голосом. — Последний дубль!

Люди, брюзжа и волоча ноги, стали взбираться на подъем. Джимшер схватил Ангию за руку и попытался увести его. Ангия заупрямился.

— И впрямь чокнутый! — сказал Джимшер, растерянно улыбаясь.

К нему на помощь пришел верзила, и Ангию наконец оттащили на тротуар.

— Хута! — кричал оператор. — Хута! Приготовьте камеру, нашли время комедии разыгрывать!

Вдруг улица качнулась, растаяла на глазах.

— Что там еще? — спросил женский голос. — Почему погасили?!

— Уходим, — произнес кто-то с азербайджанским акцентом. — Баста! Хватит с нас!

— Поглядите-ка на них! — вспылила режиссер. — Скажите им, пусть не делают глупости, не то завтра же покинут студию и уже раз и навсегда. Все в начальники лезут! Сейчас же включить!

...Ангия лежал, затаив дыхание, в белоснежной постели, лоб и виски его клещами сдавила темная ночь.

Потом он внезапно проснулся, отчетливо ощутив продолжительное мгновение, разделяющее сон и явь; его разум с трудом прокладывал себе путь из бесцветного хаоса небытия, еле полз в жестком, усыпанном разноцветными пятнами пространстве, упрямо боролся за свое существование. Ангии чудилась близость привычного, родного и утешающего мира. Потом он почувствовал блаженную тяжесть собственного тела, и некое тревожное, полное неприятных воспоминаний молчание, непохожее на обычную тишину ночи, и раскрыл глаза.

Он сел на кровати и прислушался. За приоткрытой дверью послышался шорох. Ангия встал, осторожно пересек комнату, открыл дверь и сразу же ощутил приятный запах лекарств. В конце длинного, тускло

освещенного коридора сидела девушка в белом халате и читала книгу. Ангия вышел в коридор, девушка подняла голову, в страхе захлопнула книгу, вскопчила, но почему-то не убежала, а лишь беспомощно огляделась по сторонам.

— Это больница? — спросил Ангия.

— Да, — ответила девушка.

— Как я попал сюда? Сам пришел?

— Нет, — ответила она, — вас привез на машине какой-то человек. Вы упали на улице.

— Странно, — проговорил Ангия, — что же случилось? Чувствую себя легко, как птичка.

Девушка рассмеялась.

— Утром придет врач. А до этого вам надо выпиться. Пока только пять часов.

— Вы меня не узнаете?

Девушка неловко улыбнулась и покачала головой.

— Нет? — переспросил Ангия. — Я... Разве вы не видели меня на сцене?

Он произнес эти слова, и внезапно им овладел страх — он весь задрожал, и глаза его расширились.

— Вам плохо?

— Нет, — сказал Ангия и отошел.

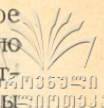
Девушка в растерянности смотрела на него.

— Пойду, — спокойно произнес Ангия, — врач будет утром?

— Да.

— Спокойной ночи.

Он некоторое время стоял, не шевелясь, потом повернулся и медленно пошел прочь. Ангии не спалось, но он все же не зажигал света. Во всем теле ощущалась приятная истома, и непривычная радость, овладевшая им, вселяла в него тревогу. Он подошел к окну. За окном таяла прозрачная, тихая ночь. Больница, наверное, находилась на окраине города, ведь вокруг не было ни одного высотного дома. В темноте виднелись лишь силуэты редких деревьев и низкое здание с белой крышей, одиноко возвышающееся на фоне светлеющего неба. Все окрест было окутано удручающим спокойствием, издали подступала заря, и в нежной мгле еще неосознанно и мучительно рождался туман. Внизу, под окнами, стелился по земле



свет невидимой лампочки. Ее овальное, неподвижное сияние высвечивало из недр темной ночи прозрачную зелень травы, и Ангия ощутил странную сопричастность ко всему окружающему — словно из глубины темного колодца поднимается бадья, извлекая на поверхность мироздания то, существование чего с таким отчаянием предчувствовало его оцепенелое сознание. И вот (может, это ветер качнул лампочку-невидимку) медленно, со скрежетом поползла вверх сверкающая сцена, в зияющей в ослепительном сиянии черной дыре перегоревшего прожектора тускло проглядывают короткие черточки сидящих рядом зрителей или печальные спинки пустых кресел, медленно плывущие влево и теряющиеся в темноте партера. Ангия слышит глухой, вулканический гул крутящейся сцены, по телу его пробегает дрожь, словно долгожданная влага впитывается в сухой пол, и он стоит посреди сверкающей сцены, и все—картонные стены цвета ржавчины, кровать, покрытая красным бархатом, тяжелые ярко-красные занавеси, старинный круглый стол, на котором горят три свечи в бронзовом подсвечнике, и большая, тяжелая потухшая люстра, застывшая на своде темного зала наподобие сложившей крылья птицы, — все магическими нитями связалось с каждой клеточкой его тела, все кружится, вертится вместе с ним, и Ангия преклоняет колени на сцене, постепенно замедляющей свой ход, стихает и глухой гул, и стоящий на коленях на краю авансцены Ангия чувствует, как напрягается пространство в ожидании последних рукоплесканий.

Молодая женщина в белом халате, с легкими, розовыми, словно прозрачными ладонями, с деланной улыбкой сказала ему: «Вы устали, нуждается в покое. Пойдемте. Отдохнете, и все будет в порядке».

Произошла ошибка! Это и вправду было! Это было на самом деле! Это и сейчас стоит у него перед глазами. И разве мог он не сказать об этом Анете, не сказать Элисо.

Медсестра равнодушно заполнила его анкету.

Фамилия... Имя... Отчество...

Болеет раньше или нет — не болеет.

И все кончилось. «Вы устали?» — «Боже! — вздохнула Анета. — Боже, как ты нас замучал!».

И Ангии показалось, что против него ^{готовится} еще один заговор. Его куда-то уводили. Но он не сопротивлялся. Он испытывал небесное спокойствие и блаженство и все прощал. Выходя на улицу, он окинул добродушным взглядом окружавших его людей. Элисо стояла в дверях и плакала, и при виде слез дочери, причину которых он не в силах был понять, Ангия почувствовал мужскую твердость, гордость, приводящую в волнение уверенность, которой никто не в силах был его лишить.

Время осязаемо и зримо, как легкий туман в поле, двинулось и потекло своим привычным, размеренным ходом. Время все подчиняет своему могущественному владычеству, оно движется, несет с собой Ангию и все человечество, весь мир, в котором подобно одиноко мерцающей тусклой звезде возгорелась и погасла тень копошащейся на берегу реки девочки...

— Нуца-а! Нуца-а!

— Иду, иду! Разве не кончили?

— Нет, еще один!

И во внезапно воцарившейся, напрягшейся в нервном ожидании тишине раздался ленивый голос:

— «Сон». Эпизод «Убийство». Дубль третий!

— Камера!

Вот кто-то несется стремглав вниз по улице, широко размахивая руками. Вот из мрака показалась еще одна фигура, она поначалу шла быстрыми шагами, потом перешла на бег и вдруг, споткнувшись о булыжник, потеряла равновесие, но не упала, а, вытянув шею, вновь бросилась бежать. За ней следом побежали еще двое...

— Массовка! — послышался знакомый крик.

Ангия выступил вперед, остановился на краю тротуара.

— Быстрее! — кричал кто-то. — Быстрее! Не путайтесь друг у друга под ногами!

Ангия уже ничего не видел. Вокруг все смешалось, отовсюду бежали люди, кто-то пнул его локтем в бок и оттолкнул. Из-за спины Ангии выскочил человек в кожаной куртке, чуть было не сшиб его с ног и присоединился к бегущей впереди группе. Потом рядом

возникла кокетливая старушка в бархатном пальто, она, тяжело дыша, бежала вниз, стараясь уцепиться за Ангию. И вот уже его со всех сторон окружили люди... Как он оказался здесь? Что ему надо? Его ведь выгнали! Ему запретили здесь появляться! Ангия в замешательстве огляделся по сторонам. В груди возникла невыносимая боль, к горлу подкатил горячий ком, и внезапно нахлынуло знакомое неистовство. Он вырвался вперед. Промелькнул жаркий глаз прожектора. И Ангия увидел режиссера — она стояла на тележке, вытянув руку, и что-то кричала. Он кинулся было к ней, но тотчас обступили его ненавистные тела, и все исчезло, только в вышине, на темнеющем небосклоне, мелькнула тусклая дымка прожектора.

— Машины! Пускайте машины!

Ангия сделал еще несколько шагов и почувствовал, как качнулась улица, как захлестнула его волной, как пронзил слух вой сирен. Он остановился и оглянулся назад. Сквозь рой бегущих людей он разглядел светившие из глубины двора или темного тупика ослепительные струи фар. Два световых луча осветили все окрест, и... тронулась большая сверкающая сцена, с грохотом закружилась над темным партером, и...

— Кто его выпустил! — завопил кто-то. — Увести немедленно!

— Оставьте его! — донесся до Ангии крик.

— Пусти, — Ангия наткнулся на кого-то, оттолкнул его в сторону, в мгновение ока прошмыгнул между телами, вырвался вперед, на какой-то миг мелькнул у него перед глазами тот магический глаз, и его бездонное, манящее пространство поглотило и повлекло за собой Ангию, и тотчас взметнулся ослепительный свет — вот и он, этот миг! Миг, ради которого живешь! Миг твоего торжества. Ты уже приобрел право на любовь, и она будет с тобой всегда! Для одного этого мига ты и родился на свет. Это и есть твоя свобода — один божественный миг! И если ты рожден для ближнего своего — ищи этот миг. Главное помнить, что в жизни он бывает всего лишь раз, миг, который принадлежит тебе, и ищи его, чтобы жить, — и

Ангия повернулся, яростно оттолкнулся от земли и прыгнул в ослепительное сияние! Он словно со стороны видел этот прыжок — стремительно пронеслось перед глазами парящее в сверкающем пространстве тело, и до того, как он успел что-либо понять, раздались скрежет тормозов, до слуха донесся женский крик, что-то навалилось на грудь и отбросило его назад.

Он не почувствовал ни боли, ни страха, ни сожаления. Вокруг не было ничего. Лишь ослепительное пространство, населенное любимыми лицами и воспоминаниями, и он лежал посреди освещенной улицы, на виду у тысячи глаз. Где-то там, в пропитанной торжественной печалью комнате, в которой покоилось Анетино тело, или до этого, на дне темной пропасти, среди одиннадцати изуродованных трупов... И вот кружится большая сверкающая сцена, постепенно замедляя ход, стихает и глухой гул, и распластанный на краю авансцены Ангия чувствует, как напрягается пространство в ожидании последних рукоплесканий...

Он открыл глаза. Перед затуманенным взором возникли мерцающие тела. Его переполнила любовь.

— Боже! Что мы наделали! — расслышал он тревожный женский голос.

— Кто его отпустил...

Потом звуки смешались и непонятным звоном застыли в ушах. И все же он различил далекий, словно гремящий с неба мужской голос:

— И этот дубль испортили?

В ожидании ответа Ангия весь превратился в слух, но так ничего и не услышал.



СПЕШАТ на рабо-
ту люди... **Каждого**
из них ждет его рабочее ме-
сто на фабрике, на заводе, в
исследовательской лаборато-
рии. Ждет письменный стол,
прикованный к постели па-
циент или любознательный
школьник...

Спешат они ранним утром
с думами о делах предстоя-
щего дня, возможно не осо-
знавая до конца, что имен-
но с их своевременного при-
хода на работу начинается
трудовая дисциплина, кото-
рая является основой основ
любой дисциплины — будь
то плановая или финансо-
вая, договорная или техно-
логическая и вообще испол-
нительская дисциплина. Пре-
жде всего дисциплина начи-
нается с совершенствования
организации труда, созна-
тельного, рационального ис-
пользования каждой рабочей
минуты.

Прекрасно, когда на ра-
боту идут, не преодолевая
себя, а ощущая всю меру от-
ветственности за порученное
дело, всю его значимость и
важность.

В толковом словаре суть
слова «дисциплина» сформу-
лирована так: «Подчинение
установленным порядкам,
правилам, обязательное для
всех членов какого-либо
коллектива». Иначе говоря
— дисциплина есть созна-



Русудан ГРИГОЛИЯ

СПЕШАТ НА РАБОТУ ЛЮДИ...

тельный, осмысленный порядок на каждом участке — большом или малом.

В нашем социалистическом обществе соблюдение дисциплины, сознательного порядка стало жизненной потребностью для членов общества. Именно такой подход к дисциплине позволил добиться побед исторического значения в хозяйственном и культурном строительстве как после гражданской войны, так и в пору тяжелейших для нашей страны испытаний Великой Отечественной. Советский народ благодаря строгой дисциплине, сознательному труду сумел **восстановить разоренную войной страну, добиться успехов в послевоенные пятилетки. Возрастал трудовой энтузиазм, рос и достаток в стране.. Постепенно новышалось материальное благосостояние советских людей, рос и культурный уровень жизни.**

И сегодня, с первых же дней третьего года пятилетки, наша страна живет напряженным трудовым ритмом, так как в этом сердцевинном году мы должны постараться восполнить те потери, которые в силу крайне неблагоприятных погодных условий имели место в первые два года пятилетки и оказали определенное отрицательное воздействие на некоторые отрасли сельского хозяйства и перерабатывающей его продукцию промышленности, вызвали их непредвиденное отставание в выполнении планов.

На ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь Центрального Комитета нашей партии товарищ Ю. В. Андропов заострил внимание всех трудящихся на крайне злободневных проблемах, стоящих перед страной. Вопрос укрепления дисциплины поставлен особенно остро.

В нашей республике, как и во всей стране, развернута бескомпромиссная, принципиальная борьба за твердую, социалистическую дисциплину, смысл и значение которой для дальнейшего подъема и развития народного хозяйства страны невозможно переоценить — во имя улучшения качества работы, повышения производительности труда, удешевления производства продукции. С максимальной эффективностью надо использовать каждую рабочую минуту, повсеместно создать атмосферу непримиримости к любому нарушению дисциплины.

XXVI съездом КПСС в качестве одного из основных направлений нашего развития намечено рациональное использование рабочего времени на каждом участке производства. На этом форуме коммунистов было сказано именно так: «Добиться значительного улучшения трудовой дисциплины, порядка и

организованности на производстве... Обеспечить полное и рациональное использование рабочего времени на каждом участке...» (Материалы XXVI съезда КПСС, стр. 200, М., 1981 г.).

Сегодня в соответствии с постановлением ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС совершенствование организации труда — первейшая задача, в этом источник, основа неуклонного соблюдения договорной, плановой, технологической дисциплины.

Прямым результатом правильной организации труда является сокращение потерь рабочего времени. Ведь в результате таких потерь, вызванных неоправданной текучестью кадров, промышленность столицы Грузии недодала республике дополнительной продукции на десятки миллионов рублей.

Большая текучесть кадров характерна для таких предприятий, как производственное объединение «Тбиливо», фабрика макаронных изделий, производственные объединения «Тбилхлеб», «Исани», авторемонтный завод № 2, завод «Агрегат», парфюмерно-косметическая фабрика «Иверия», инструментальный завод и некоторые другие.

Социологическим исследованием, проведенным кафедрой экономики труда Тбилисского государственного университета, установлено, что в тбилисском обувном объединении «Исани» заработками недовольны 36 процентов опрошенных, а на камвольно-суконном комбинате — 43 процента. На условия труда и отдыха жалуются 27 процентов опрошенных в Тбилисском швейном объединении имени 1 мая, на камвольно-суконном комбинате — 34, на станкостроительном заводе имени Кирова — 39 процентов. Многие опрошенные причиной своего недовольства считают несоответствие выполняемой работы их специальности. Именно с этого и начинается равнодушное отношение к труду. А ведь добросовестность в доверенном деле — основа сознательной трудовой дисциплины.

Известно, что в светлом, красивом цеху, лаборатории, у хорошего нового станка человек работает лучше. Создание именно такой обстановки на производстве, повышение культуры труда в широком значении этого слова, энергичная поддержка и внедрение всего нового, прогрессивного во многом способствуют закреплению рабочих на производстве.

Там, где к делу укрепления дисциплины подошли творчески, не замедлили сказаться и результаты. Например, на авиационном заводе имени Димитрова, комбинатах — керами-

Русудан Григолия. Спешат на работу люди...

ческом и строительных материалов, в производственном объединении «Тбилмолоко» и других применяют самые разные формы для умелого использования опыта работы, улучшения организации и условий труда, строгого соблюдения законодательства в трудовых взаимоотношениях.

Как показывает статистика, ежегодно за счет сокращения потерь рабочего времени в нашей республике можно дополнительно получить промышленной продукции на 100 миллионов рублей. Прискорбно, что потери рабочего времени на одного рабочего, занятого в промышленном производстве нашей республики, в 1,6 раза превышают среднесоюзный показатель. Важнейшей задачей каждого труженика республики является скорейшее преодоление этого отставания.

С незапамятных времен грузины славятся своим трудолюбием. Сколько раз, работая не покладая рук, они восстанавливали свою разоренную вражескими нашествиями многострадальную страну... Великий Октябрь предоставил грузинскому народу широчайшее поле деятельности, требующее огромной творческой инициативы и энергии. Грузия из края сохи и мотыги превратилась в мощную индустриальную республику. И в основе высокопроизводительного добросовестного труда на службе народу, укрепления экономики, оздоровления социальной атмосферы прежде всего должны быть абсолютный порядок и твердая дисциплина. Такая традиция была рождена вместе с установлением Советской власти. И в наши дни труженики Грузии должны неуклонно следовать ей, крепить ее, обогащать и приумножать.

Поскольку речь зашла о традициях, мне хочется сослаться на примеры двух коллективов — Тбилисской швейной фабрики имени Серго Орджоникидзе и Горийского консервного объединения, имеющих большие традиции в укреплении дисциплины.

Трудовые коллективы этих предприятий — первенцы индустриальной Грузии внесли свой вклад в превращение Грузии в республику развитой мощной промышленности.

Сегодня, с приходом нового поколения, богатые традиции добросовестного отношения к труду, преданности доверенному делу должны быть развиты, приумножены, обогащены новым подходом, новыми принципами.

Ветераны труда иногда упрекают молодежь в равнодушии в отношении к делу. Но сегодняшняя действительность призывает именно молодежь сплотиться и возглавить поход за укрепление дисциплины.

Тбилисская швейная фабрика имени Серго Орджоникидзе существует уже более 60 лет: в 1921 году — в год установления Советской власти в Грузии — на базе профобъединения «Немси» была создана первая швейная фабрика. Группа швей-энтузиасток этого дела перенесла тогда орудия труда в основной корпус сегодняшней фабрики. Так было положено начало швейной промышленности в Грузии.

Принеся из дому швейные машины марки «Зингер», на голом энтузиазме и с огромной верой в успех большинство рабочих в кустарных условиях начало работу по-новому. На свои средства они покупали иглы, нитки, сами проводили профилактику машин.

На заре существования коллектив предприятия состоял примерно из 100 человек, каждый жил убеждением, что делает большое важное дело во имя счастливого будущего. Это помогало им преодолевать необычайные трудности, тяжелое финансовое положение, при котором рабочие месяцами не получали заработную плату.

Вот тогда родилась на фабрике сбереженная по сей день единым, сплоченным коллективом традиция соблюдения твердой, можно сказать, железной дисциплины.

Сейчас спаянный дисциплинированный коллектив фабрики включился в движение за всеобщий трудовой подъем в нашей стране. На первый взгляд, ее старые корпуса кажутся несовременными, и чтобы, как говорится, расправить крылья, просто не хватает территории. Но когда попадаешь в цехи, глаз радуют новейшие машины и оборудование.

Любовь к своему делу особенно проявилась в грозные дни Великой Отечественной войны, когда рабочие и служащие фабрики бессонными ночами шили военную форму — брюки, гимнастерки, пилотки, шинели для тех, кто ушел на фронт. Если до войны фабрика работала в две смены, то в военное время коллектив перешел на трехсменную работу.

В период Великой Отечественной за успехи в труде коллектив фабрики систематически удостоивался переходящих Красных знамен, участвовал во всесоюзном соревновании, передовики фабрики получали высокие государственные награды. Кроме того, по окончании смены они самоотверженно работали на выделенных фабрике для подсобного хозяйства земельных участках, сеяли, пололи и обрабатывали овощи, ку-

Русудан Григолия. Спешат на работу люди...

курузу, фасоль. По их инициативе трудящиеся Октябрьского района столицы Грузии отправили на фронт два вагона с продуктами и теплой одеждой. И какой радостью для них было полученное с фронта полное благодарности письмо воспитанника коллектива Иванэ Табидзе: «Сделанная вашими руками одежда прошита такой крепкой строчкой, что ее не смогла разорвать даже пуля врага, спасибо всем вам».

Продукция швейной фабрики имени Орджоникидзе всегда отличалась высоким качеством, а это могло быть достигнуто только благодаря высокой, сознательной и крепкой дисциплине.

— Безусым парнишкой пришел я на фабрику, — вспоминает ветеран производства Ш. Кереселидзе, — коллектив принял меня тепло и предоставил работу. Я здесь не только приобретал опыт в работе, мастерство — мне прививали чувство уважения к труду. Со мной были строги, но я не в обиде. Требовательность — обязательное условие. Если молодой человек предоставлен сам себе и к нему не предъявляются самые элементарные требования, то потом уже трудно будет приучить его к порядку. Моя рабочая совесть призывает меня стараться внушить молодежи любовь к избранной профессии, привить потребность к труду и порядку. Я со своими учениками строг, требую многого, не люблю ничего откладывать на потом. Если с самого начала приучить к порядку, дисциплине, научить ценить каждую минуту, то в дальнейшем это войдет в плоть и кровь, станет чертой характера, и молодежь уже никогда не сможет быть равнодушной к своему делу, а потом сама же скажет мне за это спасибо.

В послевоенный восстановительный период коллектив фабрики с неменьшей энергией включился в работу по восстановлению и развитию народного хозяйства страны. Коллектив горячо поддерживал каждый новый почин и инициативу. Особенно активно включился он в движение за коммунистический труд. Эта совершенная форма социалистического соревнования создала каждому рабочему широкую возможность для проявления своих творческих способностей и личной инициативы.

Участие в этом прогрессивном движении еще больше потребовало повышения квалификации, усиления общественного контроля, дальнейшего мощного укрепления трудовой дисциплины. Первой в соревнование за звание бригады коммунистического труда включилась молодежная бригада Валиды Легашвили.

Сейчас В. Легашвили является наставницей молодых ра-
бочих, примером для них, но иногда не без душевной боли
признается:

— Когда я совсем молоденькой девочкой пришла на про-
изводство, мне и моим сверстникам достаточно было сказать:
«Надо сделать». Плановое задание было для нас законом, так
как это было нужно стране. Сегодняшняя же молодежь не-
сколько иначе понимает слово «надо», молодых порой не допро-
сишься. Мы достигли многого, возросло и наше благосостояние,
потребности. Голого энтузиазма, которым мы горели, теперь не-
достаточно, сейчас у молодежи больше требований к условиям
труда. Ее уже не удовлетворяет ручной труд, она рвется к но-
вым станкам и установкам. Ей необходимо четкое обоснование
реальности плана, смысла и необходимости той или иной рабо-
ты. Если прежде мы могли закрыть глаза на находящегося ря-
дом лентяя и поработать вместо него так, чтобы планы не «го-
рели», то сегодня мы уже не можем относиться к этому по-
прежнему; все должны работать с одинаковой отдачей. Каж-
дый из нас, будь он рабочим или инженером, обязан с боль-
шей ответственностью выполнять порученное дело. Мы долж-
ны больше спрашивать и с самих себя, и с тех, кто находит-
ся рядом. Для коллектива нашей фабрики строгая дисци-
плина — традиция, и пока хватит сил, я сделаю все для ук-
репления этой традиции.

Коллектив швейной фабрики имени Орджоникидзе, его
руководство (директор М. Чхеидзе) горячо откликнулись на
решения ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Серд-
цем восприняли они курс на дальнейшее укрепление дис-
циплины. Намечены конкретные меры, и результаты уже
сказались. Если в 1982 году потери времени из-за ухода
с работы по разрешению администрации составили 1,26
процента, то уже в начале 1983 года этот показатель
снизился до 0,4 процента. Фабрика наметила также це-
льный ряд мероприятий по ликвидации текучести рабочей си-
лы, улучшению условий труда рабочих. Руководство ни
на минуту не ослабляет требовательности в отношении дис-
циплины, делает все для того, чтобы привить каждому члену
коллектива чувство ответственности за порученное дело.

Такие же богатые и славные трудовые традиции сло-
жились в Горийском консервном объединении (директор
М. Кигиашвили). История предприятия начинается с 1919 го-

Русудан Григолия. Спешат на работу люди...

да, когда оно было первым консервным заводом в Грузии. С момента установления Советской власти в Грузии рабочие этого завода хорошо осознали всю важность и значение консервной промышленности для республики. Их самоотверженный труд, правильная организация работы способствовали тому, что завод постепенно наращивал мощности. Залогом тому была твердая дисциплина. В выполнении плана пятилеток горийские консервщики завоевали себе доброе имя. Особенно хорошо коллектив предприятия проявил себя в тяжелые военные годы и в годы восстановления пострадавшего в Великой Отечественной войне народного хозяйства страны. Тогда почти все процессы здесь осуществлялись вручную, самым примитивным образом. Но борьба за качество продукции оставалась одной из важнейших задач. Завод постепенно становился на путь технического прогресса. Менялись основные технологические процессы. С годами на консервном заводе внедрялась новая техника, совершенствовалась технология производства. Все это требовало не только большой любви к делу, но и образцовой дисциплины горийских консервщиков.

Продукция этого предприятия — одного из старейших в Грузии — очень высоко оценивается на международных выставках и ярмарках.

И сейчас объединение — это мощное, оснащенное современной техникой предприятие с просторными и светлыми сияющими чистотой цехами, где трудится уже новое поколение, свято хранящее и умножающее славные традиции завода.

Ветеран труда объединения, бригадир-наставница Тамара Мачарашвили рассказывает:

— Я уже 35 лет работаю на этом заводе. Для меня это вторая семья. Я люблю свое дело и, наверное, потому отдаю ему всей душой. Мне не нужно напоминать, что вовремя должна прийти на работу. И вообще такое напоминание мне кажется неуместным. Главное — это умение дорожить каждой минутой. Особенно трудно нам приходится в период уборки урожая, когда поступает сырье, когда обильные плоды крестьянского труда доставляются на наш завод. Овощи и фрукты должны быть законсервированы своевременно, они не могут залеживаться. В эти напряженные дни и правда приходится нелегко, но именно в это время необходимы порядок и жесткая дисциплина. И у меня порой душа болит, когда именно в такой момент кто-нибудь из молодых покидает завод, не выдерживает напряженного ритма и устрем-



ляется на поиски более легкой работы. Наверное, мы сами в этом виноваты — не смогли привить человеку любовь к своему делу. Но у тех, кто сегодня приходит на завод, серьезный протест вызывает нерегулярное поступление сырья, ведущее к простоям, когда администрация завода вынуждена перебрасывать рабочих из одного цеха в другой. Они правы. Надо стараться исправлять такое положение.

Несколько лет назад, чтобы приостановить текучесть рабочих, комсомольская организация Горийского консервного объединения создала общественный отдел кадров в составе пяти человек. Целью этого отдела было ознакомление вновь пришедших рабочих с трудовыми традициями предприятия, историей завода. Это и в самом деле была замечательная инициатива, увенчавшаяся успехом.

Для молодого человека, начинающего свою трудовую биографию, очень важное значение имеет первое место работы. А сумеют ли они по-настоящему полюбить дело, к которому только приложили руки, во многом зависит от коллектива. Но сегодня одной любви молодежи к делу явно недостаточно. Рост благосостояния обусловил и рост потребностей. Избалованные техническим прогрессом молодые люди не могут привыкнуть к ручному труду. Это одна из причин текучести рабочих.

Рост производительности труда в первую очередь зависит от все более широкого внедрения передовой техники, автоматизации и механизации производства. В деле же технического прогресса и совершенствования технологических процессов важная роль отводится рационализаторским предложениям, живому творческому отношению к процессам труда.

У этого славного предприятия большие традиции в укреплении трудовой дисциплины. В этом отношении в соответствии с требованиями сегодняшнего дня положение становится еще более стабильным. Так, в 1982 году по сравнению с 1981 прогулы сократились с 4,3 до 2,9 процента, благодаря чему предприятие выработало общей продукции на 187 тысяч рублей, а чистой продукции — на 58 тысяч рублей. Но самые большие трудности и убытки возникают в связи с несвоевременным поступлением сырья и продиктованными этим простоями. И чтобы преодолеть вызванные этим нарушения рабочего ритма одного только трудового энтузиазма, разумеется, недостаточно. Специфика консервной промыш-

Русудан Григолия. Спешат на работу люди...

ленности заключается в ее тесной связи с поступлением сельскохозяйственного сырья. Хозяйства Гардабанского и Марнеульского районов — основные поставщики томатов, баклажан и сладкого перца Горийскому консервному объединению. Но в этих районах построены свои мощные консервные заводы, и то сырье, которое раньше посылалось в Горийское консервное объединение, теперь перерабатывается на местах.

Между тем 20 процентов всех мощностей Горийского консервного объединения приходится на линии, перерабатывающие овощи. Коэффициент освоения мощности этого производства постепенно снижается. Срываются планы выпуска этой продукции, и таким образом нарушается дисциплина плановая.

Общеизвестно, что в консервной промышленности особое значение придается качеству сырья. Никакое соблюдение технологического режима при низкокачественном сырье не сможет улучшить качество изготовленной из этого сырья продукции. Значит, нарушается дисциплина технологическая.

Как известно, на ритмичность работы предприятия плохо влияет поступление сырья с опозданием или стихийно. В таких условиях производству приходится работать с большим напряжением. Это вызывает штурмовщину. А авралу, как правило, предшествуют простои. Чтобы с самого начала избежать простоев, производству приходится изготавливать такую продукцию, которая не предусмотрена планом. И, что главное, изготовленную в столь трудных условиях и не предусмотренную планом продукцию очень тяжело реализовать. И это понятно — в заключенных с торгующими организациями договорах продукция такого ассортимента не предусмотрена. А это уже наглядный пример нарушения дисциплины договорной.

К укреплению всех аспектов дисциплины необходим единый подход. Нужно твердо и неуклонно укреплять исполнительскую дисциплину, первейшей основой которой является трудовая дисциплина; воспитывать молодое поколение на трудовых традициях предприятия; прививать молодежи добросовестное отношение к делу, чувство ответственности. Молодежь должна усвоить опыт и традиции ветеранов труда. Это имеет большое воспитательное значение для молодого поколения. Ветераны хорошо знают цену минуте, любят свое дело. И именно с этой любви к делу, с творческого к нему отношения и начинаются сознательная дисциплина и порядок.

ЕСТЬ писатели, не нуждающиеся в рекламе. Тем не менее ценности, созданные ими в результате многолетнего труда и ставшие достоянием многомиллионной массы читателей, требуют изучения и осмысления. Эти ценности — не просто зеркало или картина действительности, но и часть национального сознания. Вот почему назрела необходимость перейти от импрессионистического восприятия прозы Нодара Думбадзе к ее аналитическому исследованию.

Сегодня в мире наблюдается, так сказать, романский бум. Читатель требует романа как созвучного психике современного человека аналога беспокойной и все более преисполняющейся тревоги жизни. Тем не менее это вовсе не означает, что новелла или рассказ оттеснены в тень, на задворки литературы. Именно рассказ с его древней традицией служит для грузинской прозы питательной средой, а лучшие рассказы современных писателей обогащают, украшают этот исстари пользующийся любовью и популярностью жанр. И тем не менее интерес читателей к рассказу ослабевает. Создается впечатление, будто точки зрения писателя и читателя в этом вопросе расходятся, от-

Сосо СИГУА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ ДЕТСТВА

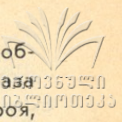
деляются друг от друга. По-видимому, этим и объясняется тот парадокс, что зачастую Нодара Думбадзе воспринимают только как романиста, почти не принимая в расчет его блестящие, исполненные подлинного мастерства и вдохновения рассказы, образующие единый цикл.

Те 17 рассказов, которые были написаны Нодаром Думбадзе в 1973—1981 годах, представляют собой как бы отдельные главы единого обширного повествования, еще не окрещенного автором, но уже вторгшегося в наше сознание могучей мелодией жизни.

Основные персонажи рассказов Нодара Думбадзе — либо подростки, либо старики; вернее, в сознании читателя они запечатлеваются вместе — как начало жизни и ее конец. Одни отягощены и умудрены жизненным опытом, вторые — живут мечтой и преисполнены энергией молодости. Объединяет их неодолимая любовь к жизни. Поэтому смерть в рассказах Нодара Думбадзе воспринимается не как кошмар и отчаяние безысходности, а как проникнутое печалью и сожалением прощание, расставание с предметами, ставшими родными.

Столетний Гудули Бережиани ни на что не сетует, не противится неизбежному, напротив — он благодарен собственному сердцу и окружающей природе, кувшину для вина и гуляющему по двору петуху, сияющему солнцу и корове: «...Гудули обошел весь двор. Потрогал плуг — износился плуг. Взглянул на топор — истерся топор. Взял в руки серп — почти весь вышел серп. Взмахнул заступом — истлел до половины заступ. Нож, что лежит на столе перед Гудули, — и тот на ладан дышит... Металл, металл не устоял перед неумолимым временем — долго ли сломиться человеку?!» («Неблагодарный», пер. З. Ахвледзиани).

Дидро кажется, что все вокруг залило каким-то необыкновенным светом и явился ему сам господь бог. С него будто спадают нелепые маски Ежика, Ломового, Мылоеда, и на лице проступает благородство души. Оно озаряется чувством человеческого достоинства, обретенным ценой жизни. Дед Спиридон видит перед смертью всех тех, кого давно уже нет в живых. Он успокаивает мальчика, а в полночь с невыразимой печалью и страшной скорбью, стоя, встречает смерть. Тонет в море сломленный несчастной любовью Янгули («Hellados»). И Кукарача не испытывает страха перед смертельной пулей. Им движут человеческое чувство, благородство и доброта. Он жалеет Ингу и отпускает вора. Но Муртало подчиняется другой силе — антигуманной, варварской. Он не может совершить ту же ошибку и



убивает соперника, ибо знает, что побеждает не умный и добрый, а сильный и жестокий. И тем не менее в финале рассказа торжествует добро. Знамя благородства, выпавшее из рук героя, подхватывают десятки человеческих рук. Не угасает его светильник, освещающий сыну человеческому путь в неведомое. Поэтому и сопутствуют Тамазу Гуриели на его жизненном пути добрая улыбка и ласковый взгляд Кукарачи.

Герои Нодара Думбадзе любят жизнь и любят человека. На Верийское кладбище ходят двое мужчин, потерявших сыновей. Здесь они знакомятся,веряют друг другу свою скорбь. Вано высекает на базальтовой могильной плите нечто, отдаленно напоминающее портрет. Он не скульптор, но гложущая его печаль ищет выхода и превращает камень в «первобытного идола», в котором он видит изображение сына. Так он борется с отчаянием одиночества, так вызывает из небытия образ сына. Выйдя с кладбища, герой видит парня, стоящего на высоком карнизе строящегося дома и делающего какие-то знаки другому парню в кабине подъемного крана, и его охватывает странное волнение, страх за юношу. Он кричит ему, чтобы тот спустился вниз. Смерть сына не сделала его эгоистом, он хочет, чтобы хоть другие люди узнали счастье, которое не суждено было познать ему, чтобы беда обошла их стороной. А подъемный кран возносит ввысь глыбу базальта.

Так переплетаются друг с другом кладбище и новостройка, смерть и жизнь, объединенные символикой базальта. В одном случае базальт превращается в надгробие, в другом — в стену дома. В сердцах героев любовь живет долго. Она может покрыться пеплом, но из глубины все же проглядывают непогасшие искры. Через много лет встречает Нодар Нанадзе свою первую детскую любовь — Нателу, которая вручает ему когда-то посвященные ей стихи. Расставаясь с ним, она плачет. Нодар молит ее о прощении. Воспоминания о чистой детской любви омрачены сожалением и меланхолией. Гудули привязывается к брошенному отцом соседскому мальчонке Уче. Перед самой смертью старик подзывает Ксению — присмотри, мол, за ребенком, чтоб не расстроился. В день похорон в доме суетятся родственники, тотвятся к поминкам, и — единственный среди всех — горько плачет конопатый рыжий мальчишка лет семи — Уча Мелимонадзе, и эти слезы знаменуют бессмертие столетнего Гудули Бережиани.

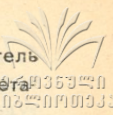
Сосо Сигуа. Возвращение в дом детства.

Нодара Думбадзе мало интересует дуалистическая природа человека, образы, раздираемые борьбой добра и зла. В потоке бытия писатель ищет только гуманное, человеческое, доброе. Зло же он воплощает лишь в отдельных персонажах, например, в Муртало.

Обворованная цыганами деревня единодушно отказывается вернуть свое добро («Цыгане»); всеми помыкаемый Дидро, побившись об заклад, выигрывает тexasские штаны. Но, оказываясь, не штаны нужны ему — он жаждет утвердить свое человеческое достоинство («Дидро»); Гогита не может убить собаку, которую все считают бешеной («Собака»); в душе пьяницы-прошайки, может быть впервые в жизни, мать умирающего солдата невольно пробуждает чувство долга, и он едет к своей матери («Мать»); в груди хулигана мальчишки-грека Янгули бьется благородное и нежное сердце («Hellados»), и Инга — возлюбленная вора и наркомана Муртало — оказывается не такой уж отпетой. В ней сохранилось человеческое чувство, требующее, чтобы его открыли и сберегли («Кукарача»).

Оправдание человеческого существования как раз и состоит в том, чтобы защитить гуманное, сберечь его, сохранить в неприкосновенности. В противном случае род человеческий остался бы всего лишь наиболее многочисленной разновидностью животного мира. Однако вместе с тем в самой сущности человека, в его бессознательной психике заложены животные инстинкты, разнозначные жизненной силе. Поэтому и напоминает жизнь реку с размытыми берегами, а не весело журчащий незамутненный ручеек. Но и тут не обделил Нодар Думбадзе своих героев светом и добром. Они — простые люди, ничем не примечательные, не выделяющиеся из массы других, с обычными переживаниями, страстями и жизненным опытом. И тем не менее благодаря своим чисто человеческим качествам — чаша наших глаз вырастают в знаменосцев духа, призванных передать по эстафете будущим поколениям величие и богатство души — эмблему неуязвимого и неиссякаемого благородства. Этого требует вечный маршфит человека человеческого существования.

В рассказах Нодара Думбадзе окружающая среда — это не просто пространство, в котором происходит действие, не просто фон, на котором разворачиваются события. Она наполняется жизнью персонажа, начинает говорить его языком. Его персонажи — не только люди. Писатель стремится восстановить, восполнить эмоциональным миром нарушенную связь между душой и предметом, воссоздать сегодняшнюю иллюзорную картину древнейшего единства. Поэтому персонажами у него явля-



ются дерево, птица, солнце, море, собака, бык, конь. Писатель
 заостряет внимание на той природе, в лоне которой мы обрета
 емся.

Нодар Думбадзе почти не изображает эту природу, не об-
 рязает ее в метафору или сравнение — с удивительной про-
 стотой он наделяет ее даром речи и человеческими свойствами.
 И начинает казаться, что только так способно думать дерево,
 только так может обращаться с мольбой к солнцу море, только
 так могут щебетать птицы. Будто разрушены все межевые знаки
 условности и у мира единый язык переживаний! Этот язык про-
 является то в человеческой речи, то в мычании быка, то в ску-
 лящем повизгивании и слезах собаки.

В рассказе «Солнце» три персонажа — солнце, море и че-
 ловек; на наших глазах околеваает не гордый красавец — ис-
 панский белый бык, а обгаренный кровью верный и кроткий кор-
 милец Шинда («Коррида»); черноголовка возвещает о прибли-
 жении смерти, но Бедиа Чиквани непонятен тайный смысл щебе-
 тания птахи; Кукури силой отбирает у покупателя проданную ко-
 рову, когда узнает, что ее ведут на заклание. Перенесение чело-
 веческих свойств на природу еще более обостряет пережива-
 ния, будто неведомая сила трогает тончайшие струны души. Она
 заставляет вспомнить не вчера, а давным-давно, тысячелетия на-
 зад утраченное детство, которое вдруг пробуждается и претво-
 ряется в поэтическое сновидение.

В «Корриде» то, что для других всего лишь цирк, зрелище,
 представление, для грузина оборачивается трагедией, которой
 холодящим кровь реквиемом сопутствуют волнующие строки
 Ш. Нишнианидзе. На протяжении нескольких страниц рассказ, на-
 чатый будто в шутовом ключе, наполняется глубокой челове-
 ческой печалью.

Контрастные настроения, неожиданная смена красок и кад-
 ров, как набежавшая волна, захватывают нас и превращают в
 участников драмы: «...Наконец у животного иссякли последние
 силы. Оно выдыхалось. Бык остановился, опустил голову и, тяже-
 ло дыша, с минуту молча глядел на песок. Вдруг он вздрогнул,
 напрягся, и я услышал его дикий, душераздирающий вопль: «Лю-
 ди, что вы сделали со мной? Почему вы изуродовали мое здоро-
 вое, сильное, пышущее жизнью тело?»

И тогда Домингин оголил шпагу и подошел к быку. Теперь
 перед матадором стоял не белый, а красный бык.

Сосо Сигуа. Возвращение в дом детства.

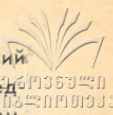
Перед матадором стоял красный бык — наш кормилец, наш верный и безропотный друг, наш благословенный бык Шинда. Исхудалый, с ввалившимися боками и облезлой шеей, он покорно стоял, равнодушно жевал сухую солому, хвостом отмахивался от назойливых мух, моргал большими, умными и печальными глазами и ждал, когда мой отец после обеда снова запряжет его в плуг и пойдет с ним прокладывать борозды в Алазанской долине.

И вот теперь этого быка — вскормленного нами кормильца и верного друга собирались убить, убить вероломно, не в честном, открытом бою, а исподтишка, коварным, предательским ударом» («Коррида», пер. З. Ахвледиани).

Хазарула будто всё видит — видит замахнувшегося на нее топором мальчика, слышит его бормотание: «Срубить, не срубить!» Старая яблоня мыслит по-человечьи, чувствует, жадно впитывает корнями красное вино. Человека и дерево сближает мистерия опьянения.

Язык единого переживания мира зовется жизнью. Жизнь объединяет, но и разъединяет миры человека, растения, животного, и только слово писателя восстанавливает, соединяет потаенные нити. Нодара Думбадзе волнуют не контуры или цвета многокрасочной природы, а самая ее суть и сила. Он всегда обращает наше внимание на главное. Сущность предмета остается для него в самой сердцевине чувства, эмоции, выводы же он предоставляет делать читателю.

Возьмем глубоко психологический рассказ «Птичка». Он в основном строится на нескольких деталях. Каждая из них с несравненной точностью передает движения души человека, ее мгновенные превращения и преобразования. Бедиа Чиквани видит на заре щебетание птицы. Вначале оно вызывает в нем ощущение радости, какой-то приподнятости: «Золотой клюв, меду и сахарку тебе!» Однако птаха не умолкает, и постепенно радость сменяется раздумьем, возникает тревожное предчувствие какой-то беды. Вскоре приносят телеграмму. Сын просит выслать пятьсот рублей. А птица все продолжает щебетать, будто предвещая что-то еще более неприятное. Бедиа идет к Аграфене, чтобы занять денег. Женщина начинает честить отбившуюся от рук молодежь — и план-то они курят, и морфием колются, а девушки так вообще потеряли стыд и совесть. Настроение у Бедиа портится вконец. А птица все не унимается. «Чик-чик, чик-чик, чик-чирик». Бедиа приходит во все большее расстройство. Мысли о сыне не дают покоя — надо послать ему телеграмму: не случилось ли чего, может, что-то скрывает.



В большинстве случаев Нодар Думбадзе рисует внутренний портрет персонажей. Внешность же героя читатель должен представить себе сам, воспроизвести субъективно — по поступкам, по мыслям. Скупые внешние штрихи, выражение лица или особенности речи указывают на существенное, главное. Дед Манавела рассказывает мальчику о бесах, оставивших на нем «страшное клеймо». Однако этот наивный, отмеченный налетом сказочности рассказ перерастает в реальность. Собственный бес, вернее бесенок, манавелова внука открывает ему, как все было на самом деле, как братья Шаликашвили привязали деда к стволу дуба, отсекали ему пальцы на правой руке и выкололи правый глаз.

Старик чудом выжил, и прозвали его в народе «бессмертным Манавелой». Впоследствии он отомстил своим мучителям, убил всех троих братьев. Во имя любви была пролита кровь, и вот эту-то историю, как сказку и легенду, и рассказывает много испытавший на своем веку старик внуку. И в нашем восприятии постепенно складывается характер деда Манавелы — мужественный, стойкий, а перед глазами вырисовывается его портрет. Читатель активно вмешивается в повествование — чтобы размежевать сказку и действительность, чтобы осмыслить сказанное намереком, вскользь, чтобы объединить прошлое и настоящее и перевести поэтический дух рассказа на язык логических структур.


Иногда незначительная на первый взгляд деталь бывает более красноречивой, нежели длинное и подробное изложение. Вспомним мальчика-грека Янгули с синей наколкой над левым соском — («Hellados»). Это слово вызывает отдаленные ассоциации. Хулиганистый мальчишка-грек вытатуировал его в память о той родине, к которой он принадлежит и которая отдалена от него теперь тысячами и расстоянием. Однако наколка имеет и иронический подтекст. Это не хранимый в сердце завет, а вынесенный на всеобщее обозрение знак. Вот почему сухумские улицы герою ближе, чем призрачная Эллада, которую он никогда и не видел. Его любовь конкретна, возвращена конкретным окружением — Венецианское шоссе, Черное море, железнодорожный мост, Кока и Петя ему дороже, чем волны Беотии и храм Акрополя.

Не следует при этом, однако, забывать, что воспитывался Янгули не в семье, а на улице. Любовь к улице и владеет его сердцем: «Матери у меня нет, я даже не помню ее, а отец—

все дни в огороде или на заработках... Я вырос на Венецианском шоссе, на улице...» Улица сформировала его душу, наделила этого «атамана квартала» внешне грубым, а внутренне мягким и уязвимым характером. Поэтому если вначале «четырнадцатилетний диктатор» и вызывает в нас какое-то враждебное чувство, то постепенно отношение к нему меняется и мы проникаемся симпатией к этому заблудшему и доброму существу, не пожелавшему вернуться в родную Элладу, ибо в Сухуми осталась Мида — «девушка-гречанка, вышедшая замуж за абхазца». Он прыгает с парохода в море, но не доплывает до берега. Так невольно становится Янгули жертвой любви. До глубины души трогает конец этой жизни, от которой только и осталось что синяя наколка на груди — «Hellados».

В этом заветном слове и воплощен для читателя облик героя. Однако рассказ имеет и второй сюжетный план — это история маленького скрипача. Улица вначале столкнула Джемала и Янгули, втянула их в драку, но затем почти сдружила. Слияние различных линий двух персонажей и рождает рассказ, завершение и восполнение которого мечтой возлагается на читателя. Поэтому-то читатель прозы Нодара Думбадзе, как и любого подлинного произведения, является его соавтором, участвующим в создании выходящего за рамки текста мира и расшифровывающим контекст в соответствии со своими вкусами и возможностями.

И тем не менее некоторые рассказы Нодара Думбадзе следует воспринимать строго в соответствии с заложенной в них эмоциональной информацией. Они не требуют ни завершения, ни восполнения воображением. К ним относится рассказ «Собака», в котором с поразительной правдивостью повествуется о дружбе мальчика и собаки. Особенно впечатляют некоторые детали рассказа: Гогита ведет убивать собаку деда Спиридона, которую вся деревня считает бешеной. Но когда он снимает с плеча ружье и прицеливается, его пронизывает жалость. Собака поднимает голову и смотрит ему в лицо. Мальчик не выдерживает, отводит взгляд, опускает ружье и выбрасывает гильзы в речку. Будто обрадовавшись, собака бросается в воду и начинает кувыркаться, поднимая фонтан брызг. Потом, утомленная, ложится на песок. И мальчику кажется, что на глазах у нее выступили слезы. Он оставляет собаку на берегу, а позднее выясняется, что она не была бешеной. Ведь дед Спиридон обещал внуку, что не покинет его и после смерти, будет навещать в обличье дерева, птицы, травы или собаки. Кто знает, может, в эту бездомную собаку и вселился дух предка. «В комнату вошел Бадриа. Уви



лежащую у моих ног собаку, он вздрогнул, но быстро овла-
дел собой и с приличествующим обстоятельством выражением
лица направился ко мне. Собака вскочила, ощетижилась, оскали-
ла зубы и сердито зарычала.

Бадриа отступил. Собака сделала шаг вперед.

— Но, но, пошла! — проговорил побледневший Бадриа. Со-
бака глядела на него налитыми злобой глазами.

— Дай же поплакать над человеком! — попытался улыб-
нуться Бадриа.

Собака зарычала громче и приблизилась к нему.

— Скажи ей что-нибудь! — обернулся ко мне растерявшийся
Бадриа.

«А она знает! Знает, да не может сказать!» — вспомнил я
слова деда и сказал:

— Бадриа, уйди из моего дома!

«Если ты всегда будешь поступать так, трудно тебе при-
дется в жизни», — вспомнил я слова деда и все же повторил:

— Уйди, Бадриа, из моего дома!

Бадриа ушел». («Собака», пер. З. Ахвледiani).

В «Хазарула» уникальный юмористический дар Нодара Дум-
бадзе проявился с прежней силой, в первую очередь — в диа-
логах. Юмор этот не вкрадывается в ткань повествования — ти-
хо, незаметно, исподволь. Он заявляет о себе прямо, открыто и
неожиданно, исходит из самой жизни и питается не созерцанием,
а смелой импровизацией. Острое словцо выявляет активность
бессознательной психики. Подобно рифме, оно вызывает в памя-
ти необычные и неожиданные ассоциации, сырой материал жи-
тейских подробностей, силу и энергию земли. Поэтому и присущ
ему особый интим, поэтому так легко и вливается оно в поток
чужих мыслей, наполняя нас глубоко человеческим теплом и
радостью, приобщая к природе собратьев.

Юмор сливается с поэтической речью. Однако лиризм боль-
шей частью проявляется в монологах, которые переходят друг
в друга, заполняют испещренную светотенями действительность.
Нодару Думбадзе чуждо спокойное, неторопливое эпическое по-
вествование. Его фраза трепетна и игриста. Она точно вырвана
из поэзии и подчинена задачам прозы. Монологи и воспоминания
его сродни поэтической печали: «Благородные граждане Тбилиси!
Сотворите добро, подайте пьянице, подонку, бездельнику, чело-
веку, который променял свое достоинство на стакан водки и

теперь стоит перед вами с протянутой рукой! Человек этот жаждет увидеть родную мать, опозоренную мною, как смерти! И мне нужны деньги, деньги на билет, чтобы поехать к ней, моей любимой матери!..» («Мать», пер. З. Ахвледиа-ни).

Поэтичность прозы Нодара Думбадзе создают не отдельные метафоры или сравнения, а эмоциональная ситуация в целом разворачивающаяся волшебным серпантинном. Его фраза — тканая по фактуре, а потому и пронизана мягкими и музыкальными красками. Динамизм рассказов, их эластичный сюжет, характеры персонажей пленяют читателя именно благодаря музыкальной волне эмоции. Может показаться, что проза не нуждается в четком ритме и музыкальности. Однако не нуждается только тогда, когда музыкальность эта искусственна, зиждется на скандировании, на стихотворной интонации. Тогда же, когда огонь вдохновения передается строкам и тенью сопутствует повествованию, музыкальность исподволь захватывает (читателя, вторгается в его бессознательное и колышет душу незримыми порывами ветра. Музыкальность — сила, неотъемлемая от эмоции, никогда не бывает самоцелью. Она должна сопутствовать настроению и обустраивать динамику поэтического слова.

Ритм прозы соответствует дыханию и бегу крови. Писатель должен проверять написанное вначале собственным пульсом, чтобы в дальнейшем — естественно, с помощью системы других компонентов — передать его читателю, вместить течение жизни, ее вечный ритм, незримый нерв в волшебный круг слов. Этот процесс нетруден, если писатель владеет стихией родного языка, и непереносимо мучителен, если он пытается заполнить душевную пустоту nasкоро собранной информацией.

Рассказы Нодара Думбадзе, равно как и его романы, построены на ассоциациях. Ассоциация раскрывает перед нами сходство впечатлений, а не предметов. Она эмоциональна постольку, поскольку заключает в себе движение мысли, проявление неожиданного переживания. Словесные отпечатки предметов соприкасаются друг с другом, обретают необычные цвета и звучание. Тайное становится явным, далекое — близким. Такое движение — стихийное проявление ритма жизни. Оно передается читателю напряжением, вибрацией каждого нерва, как атома мироздания. Еще большее возбуждение, еще больший тонус придают ему красочная и звучная игра ассоциативных предметов, слово писателя. Психическое переходит в физическое и снова возвращается к себе самому. Поэтому в рассказах Нодара Думбадзе главное — не солнечный костер, не шатры цыган, не

призраки детства, не даже стужа военных лет, а сам он, ибо каждая деталь — это незримая струна его души, вибрирующая и звучащая.



Вспомним самый длинный из его рассказов — «Кукарачу». В нем четыре главных персонажа — Тамаз, Кукарача, Муртало и Инга. Две сюжетные линии слиты в одну: первая знакомит нас с детством Тамаза Гуриели, вторая — с районным инспектором милиции Кукарачей. Рассказ написан от первого лица. Муртало — выходец из преступного мира. О нем мало известно Кукараче и еще меньше — Тамазу. Тем не менее сюжетная драма, конфликт связан именно с ним. Реальная причина конфликта — не преступление, не борьба со злом, а женщина. Это — конкретно, концепция вытекает из жизненного материала. Однако за рамками бытовых картин, да и в самих бытовых деталях раскрывается основная идея писателя. Повествование разворачивается не прямолинейно. Оно начинается сценой веселой игры детей, которую прерывает крик Зевелы: «Кукарачу убили!», то есть действие, расследование того, кто, почему и как убил Кукарачу, начинается только после развязки. Такое детективное начало нужно писателю не для создания острого сюжета, а для раскрытия психологической драмы, для выяснения не того, что последует за убийством, а того, что представлял собой убитый, почему так потрясла всех его смерть. Затем друг друга сменяют разные сцены, которые объединяет непонятная личность Муртало, как бы намеренно изолированного, выделенного из зоны действия.

Поддавшись мольбам женщины, Кукарача отпустил Муртало. Это придает повествованию еще большее напряжение. С перипетиями убийства милиционера нас знакомит Инга, рассказывающая о случившемся на суде. Чтобы с начала же избежать тяжеловесности и придать композиции ритмическую легкость, писатель прибегает к разнообразной форме развития сюжета. Он не придерживается канонических, издавна утвердившихся правил введения персонажей, развертывания сюжета, построения диалогов или монологов. В процессе повествования Н. Думбадзе сам создает модель рассказа. Но не возводит в идеал и собственную схему. В другом рассказе он уже разрушает ее и создает новую модель. Поэтому каждое новое произведение писателя малой формы отмечено печатью новизны, и трудно предсказать, какой вид примут еще не родившиеся рассказы. Написанные под диктовку сердца строки вводят в определенное русло течение

Сосо Сигуа. Возвращение в дом детства.

времени. Нодар Думбадзе обращается к достижениям новейшей прозы, осваивает грузинские традиции, народный материал, пользуется личным опытом, но все это пропущено через горнило вдохновения и превращено в единый сплав, уже являющийся собой вещество с совершенно новыми свойствами.

Окружающая обстановка, литература, сам человек меняются с течением времени. Писатель — летописец этих изменений. Однако со временем меняется и его слово. Он следует за эпохой и является продуктом эпохи. Нодар Думбадзе как писатель глубоко современный подчиняется этой трансформации. В его творчестве прослеживаются отчетливые этапы, стилизые притоки, различные модели. Рассказы, о специфике которых говорилось выше, представляют лишь одну часть его неповторимого мира, но наводят на глубокие размышления. По-видимому, одинаково трудно создать как роман, так и рассказ, как поэму, так и сонет, трудно — в силу разности сфер и материала. Тем не менее совершенно очевидно, что рассказы Нодара Думбадзе — творения, равные его романам.

Светлый лиризм его рассказов далек от патетики и искусственного эстетизма. (Эстетизм правомерен только в том случае, если возникает естественно, без преднамеренного приукрашивания, предварительных схем и чрезмерной шлифовки.) Как уже говорилось, это лиризм бытовой, присущий самому жизненному материалу, возвращение в зеленый дом детства. Материал же — чисто национальный, насыщенный грузинскими именами, типами, топонимами, родной и близкий грузинскому читателю, для иноязычного же являющийся собой удивительное царство мечты.

Перевод Нелли СОЛОД

ПОВОДОМ к небольшому поиску, о результатах которого мне хочется рассказать, послужила одна фотография, опубликованная в книге Н. К. Вержбицкого «Встречи с Есениным» (Тбилиси, 1961). На этом снимке, по словам автора, на батумском берегу Черного моря запечатлены сам писатель Н. К. Вержбицкий, художник К. А. Соколов, поэт С. А. Есенин, журналист Л. О. Повицкий и врач Н. А. Руденко. Имена всех названных лиц упоминаются в эпистолярном наследии С. А. Есенина (Собр. соч. т. VI. Письма. М., 1980), кроме врача Н. А. Руденко. Его фамилия не встречается и среди 1200 лиц, перечисленных в «Библиографическом справочнике С. А. Есенина» (Е. А. Карпов, 1972), а также в многочисленных воспоминаниях современников поэта. Нет Н. А. Руденко и в перечне врачей, работавших в 1924 году в Батуми. Никто из современников не помнит врача с такой фамилией.

Все это наводит на мысль, что в упомянутой книге подпись под фотографией содержит неточность. Кто же изображен на снимке?

Рамаз СУРМАНИДЗЕ

СЕРГЕЙ
ЕСЕНИН
И
ДОКТОР
ТАРАСЕНКО

В письмах, адресованных друзьям и близким, С. Есенин упоминает врачей Е. Л. Вартапетова и П. Г. Межерницкого, работавших в Москве или Баку. Об их пребывании в Батуми ничего не известно. В письмах поэта упоминается еще один врач — Михаил Степанович Тарасенко, работавший в то время заведующим противомалырийной станцией Батуми.

В письме Н. К. Вержбицкому от 26 января 1925 года С. Есенин из Батуми пишет: «Лева тебе кланяется, доктор тоже (М. С. Тарасенко — Р. С.). Сейчас отправляюсь на вокзал провожать доктора в Москву» (С. А. Есенин. Собр. соч., т. VI. Письма. М. 1980, с. 174).

В тот же день Л. И. Повицкий через доктора М. С. Тарасенко направляет письмо Е. И. Лившиц: «Милая Женя! Податель сего, мой старый друг **Тарасенко Михаил Степанович**, хочет непременно с Вами близко познакомиться. Я, конечно, всячески не советовал **М. С.** это делать, но ввиду упорства его даю Ваш адрес. От **М. С.** Вы можете узнать, как я поживаю, как **Сергей** дни проводит и что такое вообще Батуми. Было бы очень недурно, если бы Вы с Ритой весной прикатили к нам, — поверьте, у нас неплохо... Лев».

Рукой Есенина приписано: «...Ехать сюда не советую, потому что здесь можно умереть от скуки. Как Вы? Что Вы Напишите. **Михаил Степанович** через две недели едет обратно. Помню, люблю. С. Есенин».

«Старый друг» Л. Повицкого стал лечащим врачом С. Есенина. Поэт простудился еще в Тбилиси, в Батуми болезнь обострилась, Сергей стал сильно кашлять и уверял, что «у него горловая чахотка и он скоро умрет», но «врач ничего не обнаружил, кроме легкой ангины» (Н. Вержбицкий, с. 113).

Нет сомнений, что на снимке мы видим именно М. С. Тарасенко, который познакомился с Есениным еще в Москве и часто встречался с ним в Батуми.

Несколько слов о М. С. Тарасенко. В протоколах и трудах малярийной секции Общества врачей Батуми (ПТМС), в трудах малярийной комиссии (ТМК) сохранились скудные сведения о его плодотворной деятельности в этом городе. Из протокола малярийной комиссии от 13 июля 1912 года мы узнаем, что комиссия ходатайствует перед городской управой о направлении бактериолога городской больницы М. С. Тарасенко в Пиленково (ныне с. Гантиади Абхазской АССР) для изучения биологии местного комара и организации противомалырийного дела.

1935340
202 1110333

Вернувшись из командировки, М. С. Тарасенко в присутствии выдающегося русского паразитолога Е. И. Марциновского и ординатора петербургской Обуховской больницы впоследствии академика, М. Т. Тушинского на заседании Общества врачей Батуми сделал обширные доклады, в которых доказал необходимость открытия в городе противомаларийной станции. Одновременно он представил смету по ее организации и оборудованию.

В декабре 1912 года была избрана комиссия для подготовительных работ по открытию станции. В нее вошли: М. С. Тарасенко, С. С. Соловкин (председатель), А. А. Усаров и Г. А. Авалиани. Проекты и ходатайства об открытии противомаларийной станции были составлены доктором С. С. Соловкиным и представлены соответствующим инстанциям.

12 мая 1913 года в Батуми в доме № 26 по Владикавказской улице (ныне ул. Тельмана) состоялось торжественное открытие первой противомаларийной станции в России. Никаких субсидий от местных властей она не получала и существовала только на членские взносы членов Общества врачей. Врачи, в том числе М. С. Тарасенко, вели на станции бесплатный прием амбулаторных больных.

В ноябре 1922 года М. С. Тарасенко избирают членом Общества врачей, а позже назначают заведующим противомаларийной станцией.

26 января 1925 года М. С. Тарасенко неожиданно покидает Батуми. Отъезд был вызван конфликтом, разыграв-



шимся на заседании малярной секции в январе 1925 года, где обсуждался вопрос о направлении врача на специальный съезд в Москву. Кандидатура М. С. Тарасенко была отклонена, и вместо него командировали доктора С. С. Соловкина. Это вызвало недовольство М. С. Тарасенко, и он самовольно уехал в Москву. Именно об этом отъезде пишет С. А. Есенин в своем письме к Н. К. Вержбицкому.

М. С. Тарасенко не вернулся в Батуми. 30 августа 1925 года С. С. Соловкин на заседании малярной секции официально объявил, что «д-р Тарасенко избран лектором социальной гигиены Томского университета» (II ТМС, 1926, с. 80).

Как уже говорилось, М. С. Тарасенко был другом Сергея Есенина. Об их взаимоотношениях рассказывает А. А. Чачуа—Старженецкая, С. С. Есениным ее познакомил именно доктор Тарасенко. Р. Б. Заборова вспоминает: «В общество молодых и интеллигентных сестер Чачуа, грузинок по отцу, Есенина ввел доктор, преподаватель Томского университета **Михаил Степанович Тарасенко**, чтобы отвлечь поэта от окружающей его богемы». (ж. «Русская литература», № 2, 1970, с. 154).

Анна Алексеевна и ее сестра Ольга Алексеевна живут по сей день в Батуми. Их мемуары и исследовательского характера работы еще не увидели света, они хранятся в музеях, архивах и библиотеках страны.

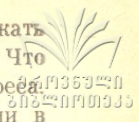
Приводим с некоторыми сокращениями воспоминания о М. С. Тарасенко:

«С Михаилом Степановичем Тарасенко я познакомилась примерно в августе 1924 года. Всегда бодрый, веселый, шумный, динамичный, огромного роста, с небольшой черной бородкой, пронизательными черными умными глазами, светло смотревший на жизнь, людей. Всюду, где бы он ни появлялся, вносил оживление, энергию, теплоту.

Кроме медицины увлекался далекими звездными мирами. О нем с улыбкой рассказывал Лев Повицкий: «Бывало, соберет нас, студентов, в своей аудитории и рассказывает без умолку о звездных мирах, о возможных полетах в космос...»

Таков был этот доктор-поэт... Тонкий ум, чуткое сердце. М. С. Тарасенко любил Сергея Есенина, преклонялся перед его поэзией, бесконечно восхищался им и бил тревогу о его судьбе как поэта и человека...

В конце 25-го года я была в Москве. Памятуя, что в бытность Есенина в Батуми он обещал меня устроить в Москве



в своем журнале техническим секретарем, я стала искать Есенина через Тарасенко, адрес которого у меня был. Что касается Есенина, он никогда не имел постоянного адреса. Михаила Степановича я не застала: он уже читал лекции в Томском университете. Меня приняла его семья: жена и две дочери. Они рассказали о трагической гибели Есенина.

Что касается фотографии пятерых на бульваре в Батуми, то справа в конце с бородкой — это категорически доктор Михаил Степанович Тарасенко. Эту фотографию показывал мне в бытность мою в Тбилиси Гарри Владимирович Бебутов, задав мне такой вопрос: «Скажите, на этой фотографии есть Тарасенко Михаил Степанович?» Я глянула и, несколько не сомневаясь, указала на фигуру, стоящую справа, с черной бородкой... «Правильно», — подтвердил Гарри Владимирович» (Анна Чачуа. «Михаил Степанович Тарасенко. Все, что знаю о нем». 21 октября 1982 г. Подлинник хранится у нас).

И еще одно упоминание о докторе М. С. Тарасенко, причем в соседстве с Сергеем Есениным. В объявлении газеты «Трудовой Батум» от 10 декабря 1924 года говорится о суде над футуристами, который состоится в академическом театре. Среди других участников, в частности свидетелей защиты, рядом названы поэт Сергей Есенин и доктор М. С. Тарасенко. Надо полагать, что их совместное участие в этом мероприятии — еще одно свидетельство их дружбы.

В Батуми по улице Энгельса во дворе дома № 11 сохранилось маленькое одноэтажное строение. Именно здесь была поставлена последняя точка в «Персидских мотивах», начатых еще в Тбилиси. Здесь же были созданы такие шедевры русской литературы, как «Анна Снегина», «Письмо деду», «Капитан земли (Ленин)» и другие.

С помощью эпистолярного наследия поэта, трудов есениноведа В. Белоусова и других источников нам удалось установить даты написанных здесь стихотворений: «Льву Повицкому» (12/XII—1924 г.), «Анна Снегина» (начало 14/XII—1924 г.), «Шаганэ ты моя, Шаганэ» (18—19/XII — 1924 г.), «Ты сказала, что Саади...» (19/XII—1924 г.), «Письмо деду» (20/XII—1924 г.), «Никогда я не был на Босфоре...» и «Батум» (21/XI—1924 г.), «Метель» и «Весна» (конец декабря 1924 г.), «Свет шафранный вечернего края» (16/I—1925 г.), «Капитан земли (Ленин)» (17/I—1925 г.), «Воспоминание» и «Мой путь» (январь 1925 г.), «В Хоросане есть такие

двери...» и «Голубая родина Фирдоуси...» (февраль 1925 г., читал батумским друзьям).

Мемориальная доска гласит: «В этом доме жил и работал поэт Сергей Есенин. Декабрь 1924 г. — январь 1925 г.». Сегодня мы уже более точно знаем, когда именно поэт поселился здесь. Приехал он в Батуми 6 декабря 1924 года, 6 дней вместе с Н. Вержбицким жил в гостинице «Ной», где родились его стихи: «Улеглась моя бывлая рана...» и «Я спросил сегодня у менялы...» (6—7/XII—1924 г.), «Цветы» (11/XII—1924 г.), а 12 декабря О. Повицкий перевез его в свою квартиру в доме № 9 на Вознесенской улице (ныне ул. Энгельса № 11). Тут он жил до 20 февраля 1925 года. По нашему глубокому убеждению, в доме этом необходимо открыть музей замечательного русского поэта, чье пребывание в Батуми было столь творчески плодотворным.

В память об этом мы пригласили посетить наш город сына С. Есенина — спортивного журналиста Константина Есенина, который впервые побывал у нас. Кстати, дочь поэта Татьяна Сергеевна тоже журналист и живет сейчас в Ташкенте.



РЕЦЕНЗИЯ

ИТОГ ОГРОМНОГО ТРУДА

ВЫШЛА в свет книга А. Г. Мхитаряна «Армяно-грузинские литературные взаимосвязи. Армянская советская литература в Грузии»*. Первая ее глава—«Под знаком взаимной любви и уважения»—пол-

* Мхитарян А. Г. Армяно-грузинские литературные взаимосвязи. Армянская советская литература в Грузии. Изд-во «Ганатлеба», Тбилиси, 1982, на рус. яз.

ностью посвящена проблеме армяно-грузинских литературных связей.

Но и в последующих главах, излагающих историю армянской советской литературы в Грузии, исследование деятельности тбилисских армянских литературных организаций, творчества писателей ведется в связи с грузинской действительностью и литературой.

Как сказано в книге, на протяжении веков армяне и грузины в совместной борьбе против многочисленных иноземных захватчиков и угнетателей отстаивали свою свободу и независимость, свой язык и письменность, свое самобытное национальное искусство. Эти храбрые и миролюбивые чреды, пронесшие кровное родство че-

рез многие испытания, породили богатейших духом, прекрасных Мгера и Амира-ни, создали памятники искусства, которым, как говорил К. Гамсахурдиа, «и сегодня позавидуют многие из самых просвещенных народов».

Обозревая армяно - грузинские исторические литературные связи, А. Мхитарян приводит множество фактов, ярких и поучительных. Знаменательно, что исторические судьбы армян и грузин автор книги рассматривает на широком фоне их взаимоотношений с Россией, с русским народом, с его передовыми деятелями. Он отмечает, что армяно - грузинские отношения становятся более тесными и вступают в новую стадию развития после присоединения Закавказья к России. Передовые грузинские и армянские деятели с начала прошлого столетия принимают активное участие в судьбе России, в ее экономической, политической, общественной, культурной и военной жизни. Они вносят неоценимый вклад в дело культурного возрождения своих народов, распространяют прогрессивные, революционные идеи социального и национального освобождения.

После ссылки части декабристов и передовых русских людей в «южную Сибирь» многонациональное Закавказье становится подлинной кузницей дружбы между народами, развития и укрепления их культурных связей. Взаимоотношения русских, грузин, азербайджанцев и армян особенно тесно перепле-

лись именно здесь.

Пребывание в Закавказье передовых русских деятелей оказывало благотворное влияние на местную жизнь, на развитие общественной мысли и культуры. И следуют факты, факты, красноречивые и наглядные, раскрывающие исторические связи наших народов на протяжении веков и в советское время, факты, немалое количество которых отныне впервые войдет в научный оборот.

Ученый исследует историю и содержание армяно - грузинских литературных взаимосвязей с V века до наших дней опять-таки на основании обильного фактического материала, особенно обстоятельного в отношении XIX—XX веков. Особо останавливается на вопросе взаимодействия грузинской действительности и литературы крупнейших армянских писателей Х. Абовяна, Г. Сундукяна, Ов. Туманяна, Ав. Исакяна, Ал. Ширванзаде, В. Терьяна и многих других, а также контактов армянской действительности с литературой таких деятелей и писателей, как А. Церетели, И. Чавчавадзе, В. Пшавела и другие.

Отмечая, что в советский период развитие армяно-грузинских литературных отношений вступает в качественно новую стадию, А. Мхитарян раскрывает многогранный и прекрасный мир истинной дружбы, творческого сотрудничества, в котором видится глубокая, кровная заинтересованность армянских и грузинских писателей в судьбах своих народов, их совместные усилия в борьбе за установление справедливости на

земле, за счастье людей.

Мы часто говорим о связи литературы с жизнью, с народом. На основе подлинно научного и вместе с тем живого, интересного исследования огромного конкретного материала по истории наших литературы автор еще раз подтверждает эту истину, и вся эта глава звучит назиданием будущим поколениям свято хранить завоеванные в этом деле рубежи.

Она наглядно показывает также, что обе литературы — и грузинская и армянская — богаты материалами, познавательно ценными для истории каждого из братских народов: армянская литература — для Грузии, грузинская — для Армении, и что все это должно стать предметом специальных исследований.

По охвату темы, глубине исследования, обилию самых характерных фактов, по теплоте, живости изложения (не в ущерб высокому научному уровню, а наоборот) первая глава книги А. Мхитаряна — серьезный, ценный вклад в нашу науку, имеющий огромное значение для дальнейшего укрепления дружбы народов СССР, в частности армянского и грузинского народов.

Говоря об арменоведении, автор представляет крупных грузинских ученых И. Джавакишвили, А. Шанидзе, И. Абуладзе, немало сделавших в области арменоведения, укрепления грузино-армянских научных связей. Освещена им и благородная деятельность И. Гришашвили, Т. Табидзе, К. Гамсахурдиа и других.

В книге справедливо подчеркивается, что уже сам факт существования армянского литературного очага в Грузии,

его богатая история свидетельствуют о плодотворности армяно-грузинских литературных связей.

Весьма значительная роль этого очага для армянской советской литературы. С первых же дней своей шестидесятилетней истории армянская литература в Грузии стала одной из основных ветвей общей армянской литературы. Тут, в Тбилиси, трудились писатели и литературоведы, творчество которых переросло в общеармянское литературное явление.

Отдельные статьи по армянской советской литературе в Грузии до сих пор носили случайный характер. Проведя колоссальную работу, А. Мхитарян собрал фактический материал в многочисленных периодических изданиях и архивах. Он имел встречи с писателями старшего поколения, наследниками ушедших из жизни литераторов. По их воспоминаниям им восстановлены и уточнены многие факты, обнаружены многие затерянные материалы, в том числе рукописи.

Таким образом, исследованием воссоздана история армянской советской литературы в Грузии, сложный литературный процесс, полный борьбы и противоречий, в частности в 1920-х годах, показан ход становления, возмужания и развития новой литературы.

Изучив историю периодических изданий, литературных, художественных организаций, А. Мхитарян анализирует творчество писателей и литературоведов, многие из которых, сыграв большую роль в литературном процессе, до сих пор были

мало известны. В этом отношении особенную ценность представляют разделы, посвященные видным литературоведам-марксистам А. Сурхатяну, Арш. Меликяну, тбилисскому периоду жизни и творчества Ал. Мясникяна, Д. Демирчяна, М. Арази, А. Вштуни и других, особо говорит автор о многосторонних и плодотворных связях Е. Чаренца с тбилисской литературной жизнью, вообще о взаимодействии с грузинской действительностью и литературой армянских литературных организаций, творчества отдельных писателей.

Большой литературоведческий и историко-литературный интерес представляет исследование А. Мхитаряном не только восстановленной им истории литературных, художественных организаций 1920-х годов и некоторых периодических изданий, но и взаимоотношений между ними, борьбы за новую литературу, искусство, за творческий метод — социалистический реализм, рассмотрение вопросов отношения к культурному наследию прошлого, традиции и новаторства, истоков советской литературы, эстетических принципов новой литературы и искусства и т. д.

В небольшом отзыве невозможно охватить весь круг очень интересных и важных вопросов и проблем, занимающих автора, но ознакомление с книгой, изданной в знаменательные дни 60-летия обра-

зования СССР, убеждает в том, что это — итог огромного труда и затрат творческой энергии, ставший весомым вкладом в исследование как армяно-грузинских литературных связей, так и истории армянской советской литературы.

В заключение несколько слов хотелось бы сказать об авторе книги.

Арташес Габриэлович Мхитарян родился в типичной для старого Тбилиси армянской трудовой семье, в которой живы были характерные для столицы Грузии интернациональные традиции. Коренной тбилисец, он получил здесь среднее, затем высшее филологическое образование. Аспирантом Тбилисского государственного университета работал под руководством профессора С. И. Дanelia. Здесь же защитил кандидатскую, а потом — докторскую диссертацию.

С 1941 года по сей день профессор, доктор филологических наук, член СП СССР А. Г. Мхитарян работает в Тбилисском государственном педагогическом институте имени А. С. Пушкина. За четыре десятка лет он воспитал тысячи молодых филологов, которые трудятся в разных уголках Советского Союза. Среди его учеников — доктора и кандидаты наук.

А. Г. Мхитарян — автор свыше ста научных трудов.

Бюро АРВЕЛАДЗЕ

ЖИЗНЬ В СТИХЕ

НРАВСТВЕННО - эстетические писания, углубленный психологический экскурс в потаенные изгибы души своей и современников, духовная самоотдача, оценка себя во времени характеризуют выпущенный издательством «Мерани» поэтический сборник Лии Стуруа*, во многом продолжающий ту стиливую линию, которая некогда определила ее жизнь в литературе. Книга состоит из новых произведений, разрабатывающих близкие автору темы.

Здесь каждое из стихотворений — словно мазок краски, брошенный на холст. Рука поэта-мастера из всей этой внешней хаотичности создает целостный, емкий образ, соответствующий характеру времени. Цикличное сочетание разнообразных образов, их связь, а иногда — противопоставление выявляют настрой и движущую силу волеизъявления автора.

Взгляд поэта, обращенный в жизнь, предельно обострен. Действительность, переосмысляясь, превращается в сказку, из сказки в стихе воссоздается действительность.

Звукоряд слов, как известно, обладающий собственной силой воздействия, сродни игре на скрипке; тут не должно быть срыва. Подобная динамичная организация слова в значительной степени вызвана отсутствием рифмы в стихе

* Стуруа Лия. «Стихи». Мерани. 1982 г.

Лии Стуруа и призвана компенсировать ее.

Каждое из ее стихотворений своей открытой доступностью — как обнаженный нерв, затрагиваясь до которого ощущаешь свою сопричастность с миром интересов и устремлений поэта.

Это своего рода грань между читателем и автором, которая зачастую обеспечивает свободу мысли в пределах одной канвы. Читателю доверяют, он может варьировать свои представления, он свободен в оценках, но неизменно остается в ритмическом ключе авторских настроений и симпатий. Это способствует доверительному диалогу с автором через ткань и структуру стиха. Форма контрастных отношений в большинстве случаев определена раскованностью чувств поэта. Подобный сплав рождает в нас ответную реакцию сопереживания.

Образ, как вспышка магния, освещает все неожиданным светом:

И если небо, как белок,
бескровно,
И пусто, и про солнце
позабыло,—
Хоть красный по нему пущу
трамвай!
Пускай визжит на резком
повороте.

Лия Стуруа не боится вырваться своими стихами в материю жизни, вызывая ответное сотрясение. Она не замыкается в кругу созданных ею же понятий жизни стиха в стихе, неизменно вырывается из них, ибо инертность претит духу ее поэзии... И потому травмой увозит поэта в страну кизила, цветов и трав.

1953
002
011033

В те края, где только и может открыться солнце «на небе чистом».

Во вступительной статье, предваряющей сборник, Отар Чиладзе упоминает раздвижную ширму, распisanную не то китайскими, не то японскими пейзажами. «Удивительно, но и эта книга, — пишет он, — напоминает мне эту ширму». Действительно, эта ширма играет в стихах Лии Стурца роль грани, межи, а — напротив, связи, союза иррационального и рационального. Сквозь эту ширму просвечивают сновидения и формулы...

Зато пейзаж в ее стихах по большей части чисто грузинский, может быть, с налетом импрессионизма. Реальность, — вполне городская, и люди, которые спрят, живут и думают, хорошо знакомы нам. Мы их привыкли встречать, нам их интересно слушать и не так уж трудно понять, ибо это мы сами.

Скрещивая пути и формы жизни, соединяя их в стихе, вынося оценки, поэт тревожно живет в своем творчестве. Иногда кажется, что он исчерпал себя в нем, как вдруг, вкозь замечает:

**Я сцены из буколик детства
Проигрываю в нынешнюю
осень.**

Так, соотнося и сопрягая себя с природой своих чувств, ища свой глагол поэзии, живет и творит поэт, подчас трудно борясь с собой, создавая тем самым законы собственного переосмысленного восприятия мира:

**Я сегодня играю на скрипке,
Потому что должно
воскресенье
Отличаться хоть чем-то от
будней.**

Или же, продолжив некогда начатый диалог, Лия Стурца может сказать:

**Но там, за колючей
провоолокой
Туго натянутых струн,
Если только рискнешь
перейти
Голубую границу вечности.**

Легче, конечно, говорить и писать о поэтах, которые конкретнее обозначают себя в предмете поэзии. Когда же поэт ставит перед собой задачу разобраться в человеческих нюансах, рефлексах, в их взаимосвязях, то тут приходится подходить к нему с особой осторожностью.

Свободный стих в грузинской поэзии—явление относительно новое. Но среди любимцев муз он уже занял свое место.

Михаил РАЗМАДЗЕ



Вано ШАДУРИ

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА

«Странное дело! Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем и пестуном их музы, поэтической их родиной!»

В. Г. Белинский

НЕДАВНО мы праздновали шестидесятилетие образования СССР, а сейчас готовимся торжественно отметить двести лет Георгиевского трактата, по которому могущественная Россия приняла под свое покровительство многострадальную Грузию. 1783 и 1922 годы, столь отдаленные друг от друга хронологически, очень близки по значению: «Дружественный трактат», заключенный двести лет назад, был своего рода прологом к великому единению наших народов.

Трактатом 1783 года, подготовленным всем предшествующим ходом истории, грузинский народ навсегда породнился с русским народом и вместе с ним пошел по пути мирного культур-

но-хозяйственного развития. С тех пор, по справедливым словам выдающегося деятеля русской и грузинской культуры А. И. Сумбаташвили-Южина, «Грузия не только боролась с Россией и за Россию, не только страдала и радовалась ее государственным страданиями и радостями, — она с нею МЫСЛИЛА... Два года отделяет рождение Пушкина от присоединения Грузии. Небывалое по силе и стремительности развитие русской литературы и искусства и гигантский рост русского политического сознания совпадает с эпохой слияния».

В славной летописи дружбы русского и грузинского народов Георгиевский трактат был грандиозным историческим событием, имевшим величайшее политическое и экономическое значение и сыгравшим совершенно исключительную роль во взаимном духовном обогащении двух братских народов. С этим трактатом и деятельностью Пушкина непосредственно связана и тема нашей статьи: открытие нового мира — Кавказа — в русской литературе.

Хотя изредка и в древнерусской словесности упоминаются Кавказ, Грузия, Иверия, Колхида, но после 1783 года особенно усиливается интерес русских писателей к этой «полуденной стране». Г. Державин уже в 1784 году говорит о Кавказе в своем произведении «На присоединение Таврических областей», а в 1797 году дает его поэтическое описание (в стихотворении «На возвращение из Персии графа В. А. Зубова»). В конце XVIII века А. Радищев пишет о Колхиде в поэмах «Бова» и «Песнь историческая», а В. Жуковский в 1814 году описывает Кавказ в стихотворении «Послание к Воейкову».

Однако названные произведения носят довольно условный, абстрактный характер и содержат ряд неточностей, поскольку их авторы никогда здесь не были.

«Колумбом Кавказа», открывшим эту «поэтическую страну», оказался А. С. Пушкин — «начало всех начал». В. Г. Белинский имел полное основание писать о пушкинском «Кавказском пленнике», опубликованном в 1822 году:

«Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями в первый раз был воспроизведен русскою поэзиею, и только в поэме Пушкина в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже знакомым России по оружию... Муза Пушкина как бы освятила давно уже существовавшее родство России с этим краем»¹.

¹ Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, 1955, т. VII, с. 372—373. В последующем также в скобках будет указываться том и страница этого издания.

«Кавказский пленник» пленял и восхищал всех новизной темы и жанра, новыми образами и стилем, особенно же — новым чарующим миром свободы, героизма и красоты.

С этого времени раздвигаются географические и этнографические границы русской литературы; она обогащается новыми красками и звуками; ее освежают живописный южный пейзаж, аромат альпийских цветов и лугов; в ее поэтическую симфонию мощно врывается музыка бушующего Терека.

В русскую литературу вступают кавказские борцы за свободу и горцы-крестьяне со сверкающими косами; туда на быстрых скакунах въезжают доблестные джигиты с острыми кинжалами и черными бурками, лохматыми папахами и разноцветными бешметами.

В огромное море русской словесности, как быстро текущие и звонкие ручейки, вливаются песни кавказских народов, принося с собой оригинальные мелодии и неслыханные раньше голоса.

Кавказ оказался для Пушкина, Лермонтова и других передовых русских писателей настоящей находкой, «тайником богатых откровений» (Лермонтов), «любопытным во всех отношениях» (Пушкин). «Никакой край мира не может быть так нов для философа, для историка, романтика, как Кавказ», — убежденно говорил выдающийся писатель-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский.

«Дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзия ее сынов» (Белинский) вдохновили Пушкина и его последователей на создание новых художественных шедевров.

Весьма показательно, что русские поэты часто изливали свои чувства горячей любви к Кавказу.

«В тебя влюблен я был безумно», — писал Пушкин. «Он влюблен в него всею душою и чувствами... Он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга» (Н. В. Гоголь). Вспомним и признания Лермонтова: «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ»; «Как я любил, Кавказ мой величавый, твоих сынов воинственные нравы!»

Любовь русских писателей к Кавказу, Грузии — это любовь к красоте, героизму, свободе, особенно к свободе. Кавказ для них стал символом свободы, кавказская тема — темой вольности и борьбы с деспотизмом.

Здесь нашли они ту «реальную романтику», ту героическую обстановку, которая соответствовала их вольнолюбивым устремлениям. Поэтому кавказская тема стала сугубо личной, интимной темой, средством выражения авторских идеалов и настроений. Верно и точно описывая объективную кавказскую действитель-

тельность, природу, быт и нравы кавказцев, Пушкин, Лермонтов и другие поэты нередко прибегали к символическим, выражая свои вольнодумческие мысли и чувства иносказательно, подспудно, завуалированно, путем олицетворения, персонификации.

Иногда это проявлялось довольно прозрачно. Например, Пушкин даже не скрывал (в Посвящении), что в его первой южной поэме слышится «тайный глас души» автора.

Кавказская тема стала органической и очень важной частью русской художественной культуры. Невозможно даже представить русскую литературу без «Кавказского пленника», «Кавказа» и «Путешествия в Арзрум», без «Демона», «Мцыри» и «Героя нашего времени».

II.

Необходимо оговориться, что ниже речь пойдет не о всем «грандиозном образе Кавказа», а лишь о его одном уголке — о Казбегском районе, занявшем особенно большое место в творчестве русских (и не только русских) писателей. Они проявляли к Казбегскому району огромный интерес. Это объясняется, видимо, тем, что он как бы в миниатюре представлял облик всего горного Кавказа и олицетворял его характерные особенности.

Перед изумленным взором поэтов, вступивших на грузинскую землю, открывалась восхитительная картина: чарующая панорама гранитных скал сурово-величавого Дарьяла, Терек, бушующий в глубокой теснине громад, и гордо возвышающаяся над горами белоснежная вершина-красавица Казбека.

«И дик, и чуден был вокруг весь божий мир».

Все это напрашивалось на художественное изображение, привлекало и вдохновляло поэтов.

Однако этот уголок земли, поражающий всех своей неповторимой первозданной красотой, был не только увлекательным эстетическим объектом, но имел также огромное историческое и политическое значение. Здесь была северная граница Грузии. Узкий, скалистый «Дарьяльский коридор» с его известными в древности «Кавказскими воротами» соединял Закавказье с Россией. С этим местом было связано множество исторических событий, представляющих немалый интерес для писателей, ученых, путешественников.

Вано Шадури. Открытие нового поэтического мира.

Наконец Терек, рвущийся из мрачной Дарьяльской теснины на волю, оказался очень подходящим и привлекательным объектом для выражения вольнолюбивых устремлений Пушкина, Лермонтова и других поэтов. Тема Терека стала для них очень важной личной и социальной темой. Оживший под пером русских поэтов Терек борется за свободу, а величественный Казбек спорит со своими «оппонентами» по самым злободневным политическим и философским проблемам.

Вот, по-моему, причины, обусловившие особый интерес русских писателей к Казбекскому району.

О глубокой теснине Дарьяла и его «воротах» много говорится в анналах древнего мира, в сочинениях античных, византийских, арабских, европейских, русских и грузинских ученых, писателей и путешественников.

«Между горами, — писал римский историк I века Плиний, — которые вдруг раздвигаются, природа создала с необычайным усилием проход, закрытый воротами из брезен, окованных железом, внизу которых течет река Дириодорис (Терек). Сбоку на скале, стоит замок Куманиа, достаточно укрепленный для того, чтобы преградить путь бесчисленным племенам».

И вот эти «ворота», которые на протяжении тысячи лет крепко были заперты и надежно охраняли Грузию от враждебных чужеземных сил, двести лет назад гостеприимно и широко были распахнуты для России, пришедшей на помощь обескровленному в боях грузинскому народу.

С открытием «Дарьяльских ворот» и открылся для русских писателей новый художественный мир — Кавказ, Грузия.

Весьма интересно для нашей темы, что местом действия «Кавказского пленника» Пушкин хотел взять Дарьяльское ущелье. Сообщая Н. И. Гнедичу о завершении работы над поэмой, Александр Сергеевич писал ему 24 марта 1821 года:

«Вы ожидали многого, как видно из письма вашего — najdete мало, очень мало». Далее следует объяснение причины: «С вершин заоблачных белоснежного Бештау видел я только в отдалении ледяные главы Казбека и Эльбруса. Сцена моей поэмы должна была находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам провел два месяца»².

² Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР. т. XIII, с. 28. В последующем тексте в скобках будет указываться том и страница этого издания.



Как видим, Пушкин считал, что если бы действие его поэмы развернулось в Дарьяльском ущелье, то она была бы несравненно лучше.

Юный поэт воздержался от описания места, которое он еще не видел, но о котором, нет сомнения, знал по книгам и живым рассказам, причем знал не только то, что северная граница Грузии находится в глухом ущелье на берегу шумного Терека, но имел представление даже о характере грузинских песен и трагической истории края. Вспомним авторское примечание к «Кавказскому пленнику», где говорится, что Черкешенка поет Пленнику «песни Грузии счастливой». «Счастливый климат Грузии, — читаем в примечании, — не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятные и по большей части заунывные» (IV—115). Поэт поясняет, уточняет, в каком смысле Грузия счастлива: она прекрасна и счастлива своей природой, благодатным климатом; что же касается пережитых ею исторических событий, то они трагичны и печальны, Пушкин безусловно знал, как из века в век терзали Грузию чужеземные погромщики. Характерно, что и в черновых вариантах примечаний наряду со словами «счастливая и прекрасная» встречается и «печальная» (IV—352). Пройдет шесть лет, и Пушкин напишет стихотворение, начинающееся словами: «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной» (I—828).

Любопытно, что Александр Сергеевич как только подъехал к Дарьяльскому ущелью в мае 1829 года, сразу же вспомнил о своей первой южной поэме. Рассказывая о ночлеге в Ларсе, он пишет в «Путешествии в Арзрум»:

«Здесь нашел я измаранный список Кавказского Пленника и признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно: но многое угадано и выражено верно» (VII—541).

Теперь Пушкин собственными глазами увидел то, о чем раньше только читал и слышал. Перед поэтом открывался мир, поразивший его своей суровой красотой и величием.

«Кавказ нас принял в свое святилище, — читаем в «Путешествии в Арзрум». — Мы услышали глухой шум и увидели Терек... Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь. Ущелье извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный

мрачной прелестью природы... Граф П[ушкин] и Ш[ернваль], смотря на Терек, вспоминали Иматру и отдавали преимущество реке на Севере гремющей. Но я ни с чем не могу сравнить мне предстоявшего зрелища» (VIII—450).

Далее читаем:

«В семи верстах от Ларса находится Дарьяльский мост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но кажется чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синее над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал... Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария³, давшая имя свое ущелью: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские ворота, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь» (VIII—451—452).

Напомню, что и писатель-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский, переведенный из Сибири на Кавказ и ехавший по Военно-Грузинской дороге в Тифлис в те дни 1829 года, когда Пушкин возвращался из Закавказья, так же восторженно и с великолепным знанием кавказоведческой литературы писал о Дарьяле:

«Я убежден, что Кавказские ворота древних, железные ворота русских историков находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дал-юл—узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-Капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных, вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием железных ворот. Плиний описывает Дарьял очень подробно. Прокопий называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, наконец, хан половецкий, разбитый Мономахом, ушел в Абазинскую землю за Железные ворота, следовательно, за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского

³ С этой крепостью связана баллада Лермонтова «Тамара». См. о ней в нашей книге «За хребтом Кавказа». Тб., 1977, с. 58—64.

замка Мирвану, царю своему; Прокопий отдает эту честь Александру, сыну Филиппа»⁴.

С Дарьяльским ущельем справедливо связывали ученые поэты важнейшие исторические события русско-кавказских отношений. В русской поэзии их впервые затронул опять-таки Пушкин. В эпилоге «Кавказского пленника» он воспеваает тот час,

**Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов.**

«Дарьяльские ворота», соединявшие Грузию с Россией, стали в литературе олицетворением родства наших народов, символом их нерушимой дружбы. Так, поэт-декабрист А. И. Одоевский, переведенный в 1837 году из сибирской ссылки на Кавказ, в своем аллегорическом стихотворении «Брак Грузии с русским царством» (Грузия — черноокая красавица-невеста, Россия — светлорусый витязь — жених) пишет, что породнение произошло «под Казбеком, в ущелье Дарьяла». Это породнение истерзанной восточными завоевателями Грузии с северным «исполином» расценивается поэтом как важнейший исторический прогрессивный акт, поскольку на этом кончилась для многострадальной страны «кручина прежних пасмурных годов».

Идея «грузинского стихотворения» Одоевского типична не только для его творчества, но и для всей декабристской литературы и передовых русских и грузинских писателей. Например, выдающийся поэт и общественный деятель, тесть Грибоедова А. Чавчавадзе в своем «Кавказе», говоря о недоступных казбекских скалах, препятствующих общению Грузии с Россией, пишет:

**Но время пришло, и к расселине узкой
Явился воспитанный в армии русской
Герой Цицишвили...**

⁴ Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения в двух томах. Том I, с. 494, 1958 г.

И Терек, взглянув на границу, признал ее, и распались высокие скалы, открыв вход по широкой дороге, «и армия Севера в славе железной шагнула на кряж», не дрогнув над бездной, ни перед вершинами громад.

Стихотворение свидетельствует не только о прогрессивном, здоровом взгляде автора на «русско-грузинский вопрос», но и о прекрасном знании исторической обстановки и конкретного материала. В частности, в картине борьбы русских воинов под водительством Цицианова за преодоление скалистых препятствий и проведение широкой дороги отражаются совершенно конкретные события. Известно, что роль Военно-Грузинской дороги особенно возросла после Георгиевского трактата, когда возникла необходимость беспрепятственного и регулярного передвижения войск, боеприпасов, гражданских лиц, различных грузов.

«Кавказские горы, — писал К. Маркс, — отделяют Южную Россию от роскошных провинций Грузии... Единственная военная дорога, заслуживающая это название, вьется от Моздока к Тифлису через узкое Дарьяльское ущелье»⁵.

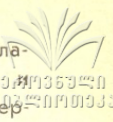
В свете всего сказанного становится понятным интерес русских и грузинских писателей к «Дарьяльским воротам».

III.

Особенно большое место в русской (да и в грузинской) литературе занял Терек, вернее — его бурное течение в Дарьяльском ущелье. Причем и его первооткрывателем в литературе был Пушкин. О Тереке он говорит в «Путешествии в Арзрум» и «Кавказе», в «Обвале» и «Тазите», в IX главе «Евгения Онегина» и в ряде незаконченных стихотворений («Меж горных стен неется Терек», «И вот ущелье мрачных скал» и т. д.).

Известно, что Пушкин созерцал природу, говоря словами Белинского, удивительно верно и живо. Он был великим мастером реалистического пейзажа. Картины природы даны у него в жизненно-ясных образах, пластично, зримо, правдиво. Пушкин верен природе. К нему, пожалуй, больше, чем к кому-либо другому применимы слова Гейне о том, что природа пожелала узнать, как она выглядит, и создала Гете, в произведениях которого она отразилась зеркально-верно. Но природа для Александра Сергеевича, как уже говорилось, была не только объектом созерцания и верного отражения. «Сын природы», как се-

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. IX, с. 533. 1933 г.



бя назвал поэт (в стихотворении «К моей чернильнице»), обла-
дая тонким чувством природы, ощущал свое «родство» с ней и
нередко одушевлял ее. Пушкинский пейзаж выделяется «вер-
ностью натуре», реализмом, конкретной предметностью и в то
же время часто — глубоким лиризмом и социальным звучанием.
Точно и зримо воспроизводя картины природы, поэт нередко
вкладывает в них «душу живу» и превращает их в средство вы-
ражения своих личных настроений, мыслей или общественных и
философских идей.

Например, в «Кавказе» дается поразительно верное, можно
сказать, осязаемое описание горного ландшафта, но в последней
части этого «описательного» стихотворения автор прибегает к
символике и иносказанию. Терек

**Играет и воеет, как зверь молодой,
Завидевши пищу из клетки железной,
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной..
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.**

Далее Терек сравнивается (в черновике) с «буйной вольно-
стью» Кавказа, борющегося против «чуждых сил», но поэт не
включил его в стихотворение, видимо, не только по цензурным
соображениям, но и из-за публицистической обнаженности тако-
го сравнения.

Теперь об «Обвале». Вспомним: с высокой горы с тяжким
грохотом упал громадный снежный обвал и «всю теснину меж-
ду скал загородил и Терека могучий вал остановил». Однако
ему ненадолго удалось задержать бурное течение реки.

**Вдруг истощась и присмирив,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега..
Ты затопил, освирепев,
Свои брега⁶.**

⁶ Источником стихотворения послужили личные впечатления
поэта. См. его «Путешествие в Арзрум», где рассказывается, как
«Терек пробился сквозь обвал» (VIII—453). Аналогичные рассказы
содержатся в сочинениях многих писателей и путешественников, в

Нарисовав яркую картину схватки стихийных сил природы, Пушкин показал победоносное единоборство Терека с огромным обвалом, обрушивавшимся на него с высоты «мрачных скал». Стихотворение носит определенную эмоциональную окраску. Ясно представляя борьбу, разыгравшуюся среди величавой природы, мы в то же время ощущаем взволнованность автора, как бы участника этой борьбы. Поэт находит что-то родное и близкое в сбое бушующего Терека, рвущегося на свободу «из клетки железной» и из-под сковавшего его обвала.

Терек олицетворяет не только пушкинское неугасимое стремление к воле, но и вообще борьбу против угнетения и деспотизма. Отсюда своего рода культ Терека. Тема Терека у Пушкина везде звучит как гимн свободе.

Такое освещение образа бурной реки восприняли и развили Лермонтов и другие русские и грузинские писатели.

«С легкой руки Пушкина, — по словам В. Г. Белинского, — Кавказ сделался для русских заветною странюю не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзией, странюю кипучей жизни и смелых мечтаний... Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина — сделался потом колыбелью поэзии Лермонтова» (VII—373).

Сосланный «с милого Севера в сторону южную» за «возмутительные стихи», направленные против убийцы Пушкина, Лермонтов оказался в Дарьяльском ущелье восемь лет спустя после пребывания здесь автора «Обвала». Увиденное поразило и вдохновило его. И в лермонтовскую поэзию с ревом ворвался неистовый Терек, у горных вершин завязался «великий спор», и Казбек засиял «как грань алмаза».

«На недоступных вершинах Кавказа, — писал о Лермонтове Белинский, — венчаных вечным снегом, находит он свой Парнас; в его свирепом Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой Костальский ключ, свою Ипсрену» (IV—544).

Признав в авторе «Даров Терека» великого наследника Пушкина (в письме к В. Боткину), Белинский правильно заметил, что это стихотворение Лермонтова — апофеоз Терека, борю-

том числе — в романе приятеля Пушкина А. А. Шишкова «Кетевана». См. наш сб. «Русские писатели о Грузии». Тб., 1948, стр. 432, также наше исследование «Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии», Тб., 1951 г.



щегося против чуждых сил, и что «только роскошная, живая фантазия греков умела так олицетворять природу» (IV—2535). Действительно, у Лермонтова:

**Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.**

Особенно важно признание, которое поэт вкладывает в уста Терека:

**Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.**

В «Демоне» Терек также в пушкинском духе противопоставляется сковывающим и теснящим его «черным скалам», олицетворяющим тупые и деспотические силы. Если в стихах Пушкина Дарьяльское ущелье сравнивалось с железной клеткой и тюрьмой, то в «Демоне» оно — «как жилище змея». Зато Терек, рвущийся из «теснины Дарьяла» на волю, окружается поэтическим ореолом.

**И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица,
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издавека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны...**

Показательно, что здесь все сосредоточено вокруг Терека: и горный зверь, и птица глаголу вод его внимали, и золотые об-

лака его на север провожали, и скалы над ним склонялись гол-
ловой...

Бушующий в Дарьяльском ущелье Терек восхищал Бесту-
жева-Марлинского. Он вообще любил описывать грозные яв-
ления природы, бури и ураганы, разгул морской стихии, шум во-
допадов и буйных рек. Все это соответствовало общему духу его
бурно-романтической природы и творчества. К описанию Терека
писатель-декабрист возвращается не раз; особенно ярко рисует
его «демонический» образ в «Аммалат-беке».

«Дико прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелье.
Там, как гений, черпая силы из небес, борется он с природой.
Инде светел и прям, как меч, рассекий гранитную стену, свер-
кает он между утесами. Инде черная от гнева, ревет и роется,
как лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит
вдаль их обломки...» (3—459)

Описание строится на контрастах, как у Пушкина, но в от-
личие от «Обвала» здесь — романтическая «живопись» с обили-
ем гипербол, абстрактных метафор, эпитетов и неожиданных
сравнений. Волны у Марлинского скачут, как адские духи, по-
раженные мечом архангела, Терек как меч, рассекий гранит-
ную стену, и т. д.

Создавая мрачный колорит Дарьяльского ущелья, одушев-
ля природу и олицетворяя борьбу Терека с неподвижными
громадами, автор стремится к тому, чтобы создать у читателя
определенное настроение, пробудить в нем бурное чувство, выз-
вать жажду борьбы.

Следует отметить, что и Бестужев-Марлинский, подобно Пуш-
кину, рвался из мрачной теснины к вольной горной вершине:
«Орел ширяется выше туч, а он — младший брат моей мысли;
ей нет высоты недолетней. Я ваш поклонник, если не гость, лю-
бимцы солнца»⁷.

⁷ О Тереке писали и другие русские поэты эпохи Пушкина и
Лермонтова. В поэме В. К. Кюхельбекера «Сирота» (с. 833) «дер-
зновенный Терек... бешен, рвет и роет берег», а в одном из сти-
хотворений Языкова («А. Д. Хрипкову», с. 842) читаем:

...Вот Дарьял
И тот вертеп, куда с заоблачной вершины
Казбека падает обвал!
Вот Терек! Это он летучей пеной блещет,
несется дик и силы полн,



Несколько слов об изображении Терека в грузинской литературе.

Описание этой реки мы находим в стихотворении поэта-романтика Григола Орбелиани «Вечер разлуки».

Ал. Казбеги (кстати, уроженец Казбегского района) в образе буйного Терека персонифицирует неукротимую волю к борьбе против общественного зла и несправедливости. В его рассказах «Цико» и «Цициа» Терек сравнивается с раненым львом, смело бросающимся на своих «противников» — скрывающиеся его скалы.

Илья Чавчавадзе вошел в историю как вождь грузинских шестидесятников, которых называли — и это весьма примечательно — «тергдалеулни» («тергдалеульцы», «терековцы», дословно — испившие воду Терека). Это были грузинские деятели, получившие образование в России, воспитанные на традициях передовой русской литературы и боровшиеся против феодально-патриархальной действительности и ее идеологии.

Описывая свое возвращение из Петербурга на родину через Дарьяльское ущелье в 1861 году, И. Чавчавадзе в «Записках путника» поет дифирамбы «нашему» отважному Тереку, как символу движения и борьбы, прогресса и непокорности.

«Благословен наш неистовый Терек, упрямый, шальной, не-оборимый и буйный! Выбившись из сердца черной скалы, несетя он с грохотом, и грохотом же все окрест ему отзывается! Мне по душе его неумный бег, звонкий плеск, пыл и жар схватки с судьбой... Терек — образ пробудившейся жизни, волнующий и знаменательный: в его мутной волне пепел бед и горестей мира»⁸.

Противопоставляя Терек неподвижному Казбеку, И. Чавчавадзе пишет, что вершина этой горы ему «напоминает Гете, а Терек — неукротимого Байрона! Блажен ты, наш Терек. Ты хорош тем, что беспокоен. Остановись хоть на миг, и обратишься в зловонную лужу, и страшный и буйный рев свой променяешь на лягушачье кваканье. Движение, только движение, мой Терек, придает жизнь и силу миру» (2—342).

Неистово кипит, высоко в берег хлещет,
Несетя буря белых волн,
По звонкому руслу, с глухим, громовым гулом,
Гоня станицу валунов.

⁸ Чавчавадзе И. Собрание сочинений в двух томах, т. 2, с. 342, 1978.

Наконец замечательно признание великого грузинского писателя: «Я убедился вполне, что между думами моими и рокотом Терека есть некая тайная связь и согласие». (2—434).

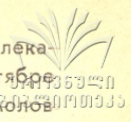
IV

Гору Казбек, которую Пушкин в 1820 году видел только издали, с вершины Бештау, через девять лет он узрел уже вблизи.

Рассказывая о своем путешествии в Закавказье в 1829 году, Александр Сергеевич писал из Тифлиса Ф. И. Толстому: «...поехав на Орел, а не прямо на Воро[неж], сделал я около 200 [верст лишних], зато видел Ермолова», и далее: «Дорога через Кавказ скверная и опасная — днем я тянулся шагом с конвоем пехоты и каждую дн[евку] ночевал — зато видел Казбек и Терек, которые стоят Ермолова» (XIV — 46). Сравнение Терека с Байроном и Казбега — с Гете в «Записках путника» Ильи Чавчавадзе понятно, и его смысл хорошо разъяснил сам автор, но ассоциация этой бурной реки и высокой горы с Ермоловым может показаться странной и непонятной. Надо полагать, она вызвана тем, что Терек и Казбек у Пушкина олицетворяли как Кавказ в целом, так и борьбу с деспотизмом и «вольную вышину», а имя Ермолова у современников всегда связывалось с Кавказом и вольнодумством.

Известно, что генерал А. П. Ермолов, главноуправляющий Грузией и главнокомандующий Отдельным кавказским корпусом в 1816 — 1827 гг., был человеком сложным и противоречивым. Грибоедов не зря назвал его «сфинксом новейших времен»⁹. Он беспощадно расправлялся с «непокорными» кавказцами, жестоко подавляя крестьянские восстания, но в то же время решительно ограждал край от восточных захватчиков, был талантливым военачальником, воспитанным на суворовских традициях, ненавидел аракчеевщину и «пруссачество», презирал бюрократическую верхушку царского правительства. Прославленный герой Отечественной войны, человек незаурядных способностей и неистощимой энергии, он пользовался большой популярностью среди передовых людей страны. Считая его «своим», декабристы намечали Ермолова даже во временное правительство в случае победы. Ему посвящали свои восторженные отзывы в стихах и прозе Рылеев и Кюхельбекер, Музанов и Лачинов, Грибоедов и Пушкин.

⁹ Грибоедов А. С. Сочинения, 1945, с. 458.



Личность Ермолова и его деятельность на Кавказе привлекали внимание Александра Сергеевича с юных лет. Еще в сентябре 1820 года писал он своему брату, что кавказский край Ермолов наполнил «своим именем и благотворным гением» (XIII—18). В эпиллоге «Кавказского пленника» поэт сочувствует «дикой вольности» горцев, но в то же время, обращаясь к «негодующему Кавказу», пишет:

**Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ, идет Ермолов!**

О большой заинтересованности Пушкина Ермоловым говорит и тот факт, что, когда заподозренный в сочувствии декабристам после окончания суда над ними «проконсул Кавказа» был отстранен от службы и находился в опале, поднадзорный Пушкин, «самовольно» ехавший в Закавказье, сделал лишних 200 верст, чтобы познакомиться с ним (живущим в Воронеже «на покое») и дать его блестящую характеристику в «Путешествии в Арзрум». Показательно также, что в 1833 году Пушкин обратился к Ермолову с письмом, в котором выразил желание написать историю его «закавказских подвигов» или быть издателем его записок (XV—58).

В свете всего сказанного понятной выглядит сложная ассоциация «Терек — Казбек — Ермолов».

В связи с рассматриваемым вопросом внимания заслуживает также стихотворение «Монастырь на Казбеке». В отличие от «Кавказа», где поэт как бы с высоты орлиного полета обозревает природу края, здесь он находится в том самом «ущелье мрачных скал», которые в стихах Пушкина сравниваются с тюрьмой. Из этого ущелья, где «тесно и душно», поэт рвется к возделенной, лучезарной «вольной вышине».

**Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами,
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.**

**Далекий, возделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!**

Туда б, в заоблачную келью,
В соседстве бога скрыться мне.



Следует напомнить, что поэтическое описание этого «чудного зрелища» дано и в «Путешествии в Арзрум». При возвращении из Тифлиса, проезжая в августе 1829 года мимо селения Казбеги, Пушкин видел, как «белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» (VIII — 482).

Заглавие стихотворения не совсем точное. Поэт описывает храм «Цминда-самеба» («Святая Троица»), построенный не на Казбеке, а на вершине одного из его «вассалов». Гигантское здание этого храма, замечательного исторического и архитектурного памятника XIV века, красуется на высокой горе, за спиной которой возвышается белоснежный великан Казбек.

Описания этого великана нигде нет ни у Пушкина, ни у Грибоедова¹⁰. Вообще сомнительно, чтобы они когда-нибудь видели его «во всей красе». Если бы видели, то не удержались бы от его описания в своих произведениях или письмах. Дело в том, что «высокое чело» Казбека, как лицо сказочной восточной красавицы, часто бывает закрыто «чадрой» — облаками и туманом. Так было и при Пушкине. Об этом узнаем из «Путешествия в Арзрум», где говорится: «Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Четырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груды, по выражению поэта, **подпирающую небосклон**» (VIII—452).

Подчеркнутые автором слова принадлежат Денису Давыдову. Если не ошибаюсь, из русских поэтов он первый дал художественное описание «Владыки Кавказа».

Прибыв в 1826 году для участия в русско-персидской войне, поэт-партизан, по его же словам, «видел Казбек, величественно возвышающийся двуглавою вершиной своею над всем снеговым хребтом по темно-голубому безоблачному небу. В ночное время он был еще поразительнее по своей красоте: «полная луна осыпала бледными своими лучами снеговое темя его» («Воспоминание о 1826 годе»).

¹⁰ Лишь в письме Грибоедова к С. Н. Бегичеву из Симферополя от 9 июля 1825 года говорится, что в Крыму «нет ни таких гранитных громад, снеговых вершин Эльбруса и Казбека, ни ревущего Терека» (Грибоедов, Сочинение, 1945, с. 489).

Это впечатление нашло отражение в стихотворении Дениса Давыдова «Полусолдат», где читаем:



С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека груди снеговая,
На нем знакомый вихрь, на нем громада льда,
И над челом его, в тумане мутном,
Как Русь святая, недоступном,
Горит родимая звезда.

* * *

С 1821 года, когда Казбек впервые был упомянут в письме Пушкина к Гнедичу, и до его блестящего олицетворения в лермонтовском «Споре» (1841), на протяжении двадцати лет в русской литературе довольно часто появлялся величественный образ белоснежного гиганта.

Восторженно писал о Казбеке А. А. Бестужев-Марлинский. Рассказывая доктору Эрману о своем путешествии из сибирской ссылки в Закавказье в 1829 году, он сообщал:

«Я упивался зрелищем... Я любовался Казбеком, на ледяных раменах которого отдыхали облака, и ненаглядною цепью опаловидных гор, и голыми утесами ущелья...» (3—299).

Другой ссыльный поэт-декабрист В. К. Кюхельбекер, томившийся в неволе, в 1833 году вспоминал дорогую его сердцу Грузию, где он провел несколько месяцев на заре своей молодости.

Тони же тяжких сновидений бремя!
Так, встал я: утро! Предо мной народ
Знакомый мне, полуденное племя;
За мной Кавказ и рев нагорных вод;
Казбека только девственное темя,
Разрезав льдом небес лазурных свод,
Там светится на крае тверди ясной...
Опять я гость твой, Гурджистан прекрасный.

Это сказано в поэме «Юрий и Ксения». В другой поэме («Сирота») автор также вспоминает:

Там высится огромный верх Казбека
Над цепью сумрачных Кавказских гор;

Вано Шадури. Открытие нового поэтического мира.

Гигант, разрезав вечным льдом обзор,
Чело купает в девственной лазури,
На чресла вяжет пояс мглы и бури,
С лежащих на коленях вещей струн
Перстам сыплет громы и перун,
Стеной же давит дерзновенный Терек... (1832—1833)



Образ Казбека, царственно возвышающегося над «толпою соплеменных гор», возникает во многих произведениях Лермонтова, причем казбекская вершина описывается то издали, то «сверху», то «снизу».

Еще в 1830 году в поэме «Джюлио» Лермонтов писал:

Средь гор кавказских есть, слышал я, грот,
Откуда Терек молодой течет,
О скалы неприступные дробясь,
С Казбека в пропасть иногда скатясь.

Это — «понаслышке», издали.

Тебе, Казбек, о страж Востока,
Принес я, странник, свой поклон («Спеша на север»,
1837).

Это уже вблизи.

Особенно следует отметить, что поэма «Демон» начинается и заканчивается описанием Казбека.

Вспомним, что, когда «печальный дух изгнанья» пролетал над вершинами Кавказа,

Под ним Казбек как грань алмаза
Снегами вечными сиял.

Вспомним также, что прах Тамары был отвезен и похоронен «меж снегов Казбека», где «одним из праотцов Гудала» был построен храм

На вершине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.

Это, конечно, тот самый храм «Цминда-самеба», воспетый Пушкиными («Монастырь на Казбеке»), о котором уже говорилось выше.

Недалеко от этого храма, на склоне Казбека, находится труднодоступный пещерный монастырь Бетлеми, с которым связано

множество легенд. Эти места и избрал автор «Демона» местом последнего успокоения Тамары. Здесь



Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят нахмурившись вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье

О чудном храме в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

Так заканчивается «Демон». Его связи с народными преданиями и легендами Казбегского района давно установлены. На это указал еще П. А. Висковатов. В 1938 г. на эту же тему с докладом выступил автор настоящих строк (тогда — студент Ленинградского университета) в ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР. Доклад тогда же привлек внимание лермонтоведов¹².

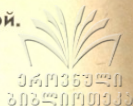
Через два десятка лет после написания «Демона» над вершиной Казбека, где когда-то «изгнанник рая пролетал», появится другой фантастический образ, но не злой дух, а «бессмертный дух» Родины, устами которого автор поэмы «Видение» великий грузинский поэт-шестидесятник Илья Чавчавадзе выскажет идеи и идеалы своего революционного поколения.

**На высоте Казбека отдаленной,
Сверкая белоснежной сединой,
Чудесный старец, в думу погруженный,**

¹² В статье, опубликованной в «Литературной газете» 15 января 1939 года, Б. М. Эйхенбаум писал о необходимости использовать приведенные в докладе материалы при подготовке академического издания сочинений Лермонтова. В том же году в жур. «Красная новь» (1939, № 10—11) появилась статья И. Л. Андроникова «Лермонтов в Грузии в 1837 году». См. также: И. Л. Андроников. «Лермонтов. Исследования и находки». 1964, стр. 249—267; Г. А. Талиашвили. «Русско-грузинские литературные взаимоотношения». Тб. 1967, стр. 111; В. С. Шадури (составитель). «Русские писатели о Грузии». Тб. 1948, стр. XXVII.; его же: «За хребтом Кавказа». Тб., 1977, стр. 52—57.

Вано Шадури. Открытие нового поэтического мира.

В тот ранний час предстал передо мной.
Глаза рукой от солнца заслоняя,
Смотрел он вдаль, где у подножья скап
Могучий Терек, волны погоняя,
Как злобный лев, метался и стонал.



(Перевод Н. Заболоцкого)

Пройдет еще два десятка с лишним лет, и Илья Чавчавадзе напишет другую свою поэму — «Отшельник» (1883), местом действия которой изберет тот самый монастырь Бетлеми, где «скала урюмого Казбека» сторожила прах Тамары.

Там, где орлы, кочуя над Казбеком,
Не достигают царственных высот,
Где цепи гор блистают вечным снегом
И ледники не тают круглый год,
Где шум людской и суета земная
Не нарушают мертвенный покой,
Где только бури стонут, пролетая,
Да рев громов проносится порой, —
Давным-давно в скале уединенной
Отцы-монахи вырубил скит.
Поныне, Вифлеемом нареченный,
Тот божий храм в народе знаменит.

(Перевод Н. Заболоцкого)

Я не собираюсь сопоставлять поэмы Ильи Чавчавадзе и «Демона», говорить о затронутых в них сложных и спорных вопросах, по которым в литературоведении нередко высказываются диаметрально противоположные мнения. Отмечу лишь тот интересный для нашей темы факт, что «Демон», «Видение» и «Отшельник», — эти наиболее прославленные, центральные поэмы Лермонтова и Чавчавадзе — связаны с Казбеком, а в «Восточной повести» (подзаголовок «Демона») и в «Легенде» (подзаголовок «Отшельника») использованы народные предания и легенды Казбегского района.

Все сказанное выше свидетельствует о том, что «Дружественный трактат», заключенный двести лет назад, сыграл исключительную роль в духовном сближении двух братских народов, что с открытием «Дарьяльских ворот» русскими писателями был открыт новый поэтический мир и создан ряд первоклассных художественных творений, поднявших русскую литературу на новую вершину славы и величия.



УЖЕ задолго до заключения Георгиевского трактата под знаменами русского войска на военной службе находились многие сыны Грузии, своим мужеством и храбростью прославившие русское оружие. Среди них были как рядовые бойцы, так и выдающиеся военачальники и полководцы.

В эпоху Петра Великого среди многих воинов Грузии, участников целого ряда блистательных сражений, в том числе и Северной войны 1700—1721 годов, составной частью которой явилась битва под Полтавой, где наголову были разгромлены шведы во главе с их королем Карлом XII, был и грузинский царевич, генерал артиллерии Александр Арчилович Багратиони. Когда ему исполнилось всего лишь 26 лет, указом царя ему было присвоено звание генерал-фельдцейхмейстера и он был назначен начальником артиллерии всей русской армии.

Выдающийся поэт Грузии Давид Гурамишвили, состоявший на службе в русской армии в составе грузинского гусарского полка, был участником нескольких военных походов русского войска в разные страны Европы, а в 1739 году, во время русско-турецкой войны 1735—1739 годов, совместно со многими своими соотечественниками отличился в штурме крепости Хотин на

Иван БАБАЛАШВИЛИ

БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО

р. Днестре. Он принимал также активное участие в боевых действиях против шведов в 1742 году на Крайнем Севере и в боях за взятие Берлина в ходе Семилетней войны 1756—1763 годов. Выражая искреннюю радость и чувство гордости воинов-грузин, участвовавших в боях за взятие прусской столицы, в одном из своих стихотворений поэт писал:

**«И мы под прусским королем
Устои трона расшатали...»**

В 1760 году Давид Гурамишвили в возрасте 55 лет, весь израненный и больной, в чине поручика вышел в отставку и, поселившись в своей небольшой усадьбе на Украине, полностью отдался литературной деятельности. Умер в 1792 году, похоронен в Миргороде, где ему в 1949 году был воздвигнут памятник в знак нерушимой дружбы украинского и грузинского народов.

Полководец русской армии генерал от инфантерии Петр Иванович Багратиони воинскую службу начал сержантом в 1782 году в возрасте семнадцати лет в Кавказском мушкетерском полку. Затем до 1792 года проходил службу в Киевском конноегерском и Софийском карабинерном полках, где его всегда ставили в пример другим военнослужащим. В русско-турецкой войне 1787—1791 годов он принимал активное участие и особо отличился при штурме крепости Очаков. Активным участником боевых действий русской армии в польской военной кампании являлся также П. И. Багратиони в 1793—1794 годах, а в 1798 году полковник П. И. Багратиони успешно командует 6-м егерским полком. В возрасте 34 лет уже в звании генерал-майора Петр Иванович Багратиони командовал авангардом союзной армии в историческом итальянском походе А. В. Суворова в 1799 году и выполнял наиболее сложные и ответственные боевые задания в сражениях на реках Адда и Треббия при Нови и Сен-Готарде. Генерал П. И. Багратиони был мастером наиболее сложных видов сражений — авангардных и арьергардных боев — и являлся учеником и надежным помощником А. В. Суворова и М. И. Кутузова.

В войне против Франции 1805—1807 годов, когда армия М. И. Кутузова совершала стратегический марш-маневр с целью выхода из-под охватывающего удара противника, П. И. Багратиони, умело и мужественно командуя арьергардом и успешно проведя ряд боев, обеспечил планомерное отступление главных сил русской армии. Затем войска под его руководством особо



отличились в ожесточенных сражениях при Шенграбене, Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск) и Фридланда.

Во время русско-шведской войны 1808—1809 годов Петр Иванович Багратиони успешно командовал дивизией, а затем корпусом. В этой военной кампании войска под его руководством особенно прославились в Аландской экспедиции 1809 года, когда совершили смелый и мужественный переход по льду через Ботнический залив и вышли к берегам Швеции, захватив Аландские острова.

В период русско-турецкой военной кампании 1806—1812 годов П. И. Багратиони был главнокомандующим Молдавской армией, которая успешно вела боевые действия на левом берегу Дуная и штурмом овладела крепостями Мачин, Гирсово, Кюстенджи, а у Рассавета разгромила 12-тысячный армейский корпус отборных турецких войск и нанесла крупное поражение противнику под Татарицей. В августе 1811 года он был назначен главнокомандующим Подольской армией, которая в марте 1812 года была переименована во 2-ю Западную армию. При нашествии наполеоновских орд на Россию, во время Отечественной войны 1812 года, с целью срыва замысла Наполеона в приграничной полосе разгромить русские армии порознь П. И. Багратиони весьма искусным маневром от Волковыска к Смоленску вывел 2-ю Западную армию на соединение с 1-й Западной армией, которой командовал генерал М. Б. Барклай-де-Толли.

В историческом Бородинском сражении армия под командованием П. И. Багратиони составляла левое крыло главных сил русских войск, по которым Наполеон I наносил свой основной и мощный удар. Однако все атаки противника были отбиты. В этом ожесточенном и кровопролитном сражении пламенный патриот отчизны и один из наиболее популярных в народе полководцев генерал от инфантерии (генерал армии) Петр Иванович Багратиони был тяжело ранен и вскоре скончался в деревне Симы Владимирской губернии, а в 1839 году его прах по инициативе поэта-партизана полковника Д. В. Давыдова был перенесен на Бородинское поле.

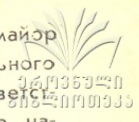
Носитель передовых идей в военном искусстве, генерал П. И. Багратиони своими выдающимися военными способностями, личным мужеством и храбростью в сражениях, а также заботливым отношением к подчиненным снискал любовь и уважение в войсках, а его полководческая деятельность оставила значительный след в военной истории.

Иван Бабалашвили. Боевое содружество.

В Отечественной войне 1812 года, помимо Петра Ивановича Багратиони, участвовали около шестидесяти человек высшего командного состава военачальников-грузин, среди них генерал артиллерии Леван Яшвили, генерал-лейтенант Иван Панчулидзе, генерал-лейтенант Роман (Реваз) Багратиони, генерал-майор Семен Панчулидзе, генерал-майор Владимир Яшвили, известный грузинский поэт генерал Александр Чавчавадзе, который в 1841 году получил чин генерал-лейтенанта, (его отец князь Гарсеван Чавчавадзе, будучи послом при русском царском дворе, в 1783 году от имени Карталино-Кахетинского царства подписал Георгиевский трактат), а также генералы Амирэджиби, Бараташвили, Джавахишвили, Картвелишвили и другие.

Особо следует отметить военную деятельность и боевые заслуги генерала артиллерии Левана Михайловича Яшвили и его старшего брата Владимира Михайловича Яшвили, который долгое время проходил службу в гвардейских кавалерийских частях и был удостоен чина генерал-майора. Как известно, в 1801 году против императора Павла I был организован заговор, в котором принимали участие гвардейские офицеры и о чем хорошо был осведомлен престолонаследник Александр Павлович. В ночь на 12 марта 1801 года заговорщики — граф Пален, П. Зубов, В. Яшвили и другие — проникли в Михайловский дворец и убили императора Павла I, а на престол вступил его сын Александр I, который впоследствии расправился с заговорщиками. Генерал-майор В. М. Яшвили был сослан в деревню Муромцево Калужской губернии. Однако с началом Отечественной войны 1812 года по разрешению М. И. Кутузова генерал-майор В. М. Яшвили принимал участие в боевых действиях против французов.

Что же касается генерала Л. М. Яшвили, то он, в 1786 году в возрасте восемнадцати лет успешно окончив артиллерийский кадетский корпус, участвовал в ожесточенных боевых действиях в русско-турецкой войне 1787—1791 годов и особо отличился при осаде и штурме крепости Очаков. В польской военной кампании 1792—1795 годов Леван Яшвили принимал активное участие, а при взятии Варшавы, отличившись, был поощрен командованием за успешное выполнение боевого задания и получил правительственную награду. Во время войны против Франции 1805—1807 годов он умело и мужественно командовал подчиненными артиллерийскими частями в ходе боевых действий в кровопролитных сражениях за Прейсш-Эйлау (ныне Багратионовск) и Гутштадт, за что был удостоен боевой награды и в 1808 году произведен в чин генерал-майора.



С началом Отечественной войны 1812 года генерал-майор Л. М. Яшвили был назначен начальником артиллерии отдельного армейского корпуса, который выполнял исключительно ответственные оперативные задания на направлении главного удара наполеоновской армии, и не раз был удостоен боевых орденов и медалей. В 1812 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В период разгрома и изгнания наполеоновских орд с территории Российской империи в 1813 году генерал-лейтенант Л. М. Яшвили был назначен начальником артиллерии Главной действующей русской армии, которая, смело и умело маневрируя в ходе ожесточенных и кровопролитных сражений, успешно громила захватчиков и освобождала населенные пункты Европы. После окончания Отечественной войны Леван Михайлович Яшвили — кавалер многих боевых орденов и медалей России, а также ряда иностранных государств был назначен в 1816 году начальником артиллерии 1-й русской армии, а в 1819 году ему был присвоен чин генерала артиллерии. В течение семнадцати лет генерал Л. М. Яшвили успешно руководил артиллерией армии, а в 1832 году был избран членом Военного совета. В возрасте 65 лет в 1833 году вышел в отставку. Умер в 1836 году, похоронен в Киеве.

Среди участников ожесточенных и кровопролитных сражений с войсками Наполеона I было немало не только генералов и офицеров-грузин, но и солдат и сержантов. Однако, к глубокому сожалению, история не сохранила имен большинства из них; известны имена лишь тех, кто особо отличился в сражениях и был удостоен боевой награды, да и то далеко не всех. Вот лишь некоторые из них: А. Базлидзе, А. Бибилури, Р. Гагнидзе, А. Гогишвили, Н. Иосашвили, Г. Кванчхадзе, И. Лалиханашвили, Г. Макацаридзе, Г. Папашвили, С. Рачвели, Э. Петиашвили, И. Тиканашвили, В. Хмаладзе, К. Чикоридзе и Д. Шенгелия.

Впервые Михаил Каихосрович Амирэджиби, который начал воинскую службу в русской армии рядовым солдатом в Тифлисском гренадерском полку, принимал активное участие и отличился в исключительно кровопролитном сражении в районе населенных пунктов Карс, Башкадиклар и Баяндур на Кавказском фронте в период Крымской войны 1853—1856 годов. В 1877 году полковник М. К. Амирэджиби как один из лучших офицеров Кавказской русской армии, имеющих значительные боевые

Иван Бабалашвили. Боевое содружество.

156-го
руководством
лучших воин-
ских частей армии, имел высокую боеготовность.

заслуги, был назначен командиром Елизаветпольского пехотного полка. Под его умелым и энергичным уже в течение того же года полк стал одной из лучших воинских частей армии, имел высокую боеготовность и боеготов-

В русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов войска под командованием М. Амирэджиби особо отличились в сражении при взятии Ардагана, за что он был награжден и ему был присвоен чин генерал-майора. Затем в 1893 году он был назначен командиром 39-й пехотной дивизии, а с 1899 года, удостоившись чина генерал-лейтенанта, он успешно командовал 1-м Кавказским армейским корпусом. Михаил Кайхосрович Амирэджиби многократно был удостоен боевых орденов и медалей Российской империи.

Отличился в ожесточенных боях с турками также генерал И. К. Багратиони-Мухранский. Русские войска под его командованием 23—25 октября (4—6 ноября) 1855 года нанесли тяжелое поражение 45-тысячному турецкому корпусу Омер-паши, наступавшему из Сухума, задержали на рубеже реки Ингури, а затем разгромили его и окончательно остановили на реке Цхенисцкали. Этому в значительной мере способствовали партизанские действия грузинского и абхазского населения. Омер-паша с остатками разгромленного корпуса вынужден был отойти к Сухуму, а в феврале 1856 года на кораблях эвакуировался в Турцию.

В 1817 году, после окончания юнкерского кавалерийского училища, Иван Малхазович Андроникашвили (Андроников) начал воинскую службу в лейб-гвардейском кавалерийском полку, где он проявил значительные командирские способности и заслужил должный авторитет, а также любовь и уважение подчиненных. Успешно прослужив в этой части до 1824 года и удостоившись чина майора, И. М. Андроникашвили по собственному желанию был переведен в Нижегородский драгунский полк Кавказской армии и принял активное участие в боевых действиях русско-иранской войны 1826—1828 годов. Он особо отличился в ожесточенных боях с иранцами за Елизаветполь (ныне Кировабад), Эривань, Ахалцихе и другие населенные пункты, за что не раз был награжден боевыми орденами и медалями Российской империи, а в 1841 году он был удостоен чина генерал-майора. Затем в 1849 году генерал Андроникашвили И. М. был назначен генерал-губернатором Тифлиса.

В Крымской войне 1853 — 1856 годов на Кавказском фронте в исключительно кровопролитном сражении в районе Ахалцихе Иван Малхазович Андроникашвили, командуя войсковым

соединением численностью около пяти тысяч воинов, 14 ноября 1853 года разгромил 20-тысячный корпус под командованием Али-паши, за что он был награжден и удостоен чина генерал-лейтенанта. А в 1854 году на рубеже реки Чолоки в ожесточенном сражении с турецкими войсками генерал-лейтенант И. М. Андроникашвили, умело и мужественно руководя боевыми действиями воинских частей общей численностью до десяти тысяч воинов, наголову разбил 30-тысячный турецкий корпус, которым командовал Селим-паша. Князь Иван Малхазович Андроникашвили, кавалер многих боевых орденов и медалей Российской империи, в 1868 году был удостоен чина генерала кавалерии.

Поводом для начала русско-иранской войны 1804—1813 годов послужил отказ России выполнить ультиматум, предъявленный ей Ираном 23 мая 1804 года, о выводе русских войск из Закавказья. В июне 1804 года главные силы иранской армии, около 30 тысяч человек под командованием наследника престола Ирана Аббас-Мирзы, из района Эривани (ныне Ереван) развернули боевые действия с целью захвата Тифлиса и разгрома русской армии. Но отряд русских войск численностью до 12 тысяч воинов под руководством генерала С. А. Тучкова нанес значительное поражение иранским войскам в районе Гумры (ныне Леникан). А 19—20 июня (2—3 июля) 1804 года у стен Эчмиадзинского армянского монастыря (Эчмиадзин около Еревана) произошло ожесточенное и кровопролитное главное сражение между русскими и иранскими войсками, в котором основные силы русской армии во главе с главнокомандующим на Кавказе генералом П. Д. Цицишвили (Цицианов) разгромили 27-тысячную иранскую армию Аббас-Мирзы. В русско-иранской войне принимали активное участие на стороне русских войск также ополченцы и партизаны Северного Азербайджана, Восточной Армении и Восточной Грузии. В боях с иранцами особо отличился грузинский 2-тысячный отряд конных ополченцев¹.

В последующие годы служба грузин в русской армии стала более массовой. Многие тысячи грузин от рядового солдата и до генерала не только проходили службу в русских войсках в разных регионах обширной территории Российской империи, но и были участниками как русско-японской войны 1904—1905 годов,

¹ Советская военная энциклопедия. Воениздат, М., 1979, т. 7, с. 182—183.

так и первой мировой войны 1914—1918 годов. Немало воинов Грузии, защищая интересы России и прославляя русское оружие, отличились в сражениях, были награждены боевыми орденами и медалями, пролили кровь и пали смертью храбрых на поле боя.

Многие воины и военачальники из Грузии были участниками ожесточенных и кровопролитных боев гражданской войны и сражений с полчищами интервентов разных капиталистических государств. Для примера, пожалуй, достаточно будет назвать имена лишь таких выдающихся личностей, как члены Военного совета ряда фронтов и армий—И. Сталин, Г. (С.) Орджоникидзе, Ш. Элиава, В. Квирквелия, командиры и комиссары соединений, частей и партизанских отрядов — И. Брегадзе, А. Гегечкори, Л. Гогоберидзе, Ш. Джапаридзе, Г. Канделаки, Н. Каландаришвили, В. Киквидзе, Б. Ломинадзе, С. Хмаладзе, А. Элбакидзе и другие.

В годы гражданской войны войсками Кавказского фронта командовал М. Тухачевский, членом Военного совета фронта был Г. Орджоникидзе, командующим 11-й армией, которая оказала неоценимую помощь народам республик Закавказья в установлении Советской власти, был А. Геккер, уроженец и воспитанник Тифлиса, а членами Военного совета армии были Я. Весник, Ш. Элиава, А. Мясникян, В. Квирквелия и А. Караев.

Прославленный начдив и активный участник гражданской войны Василий Исидорович Киквидзе уже с декабря 1917 года по март 1918 года успешно командовал Ровенским красногвардейским отрядом, который освободил города Здолбунов и Сарны, а также принял активное участие в освобождении Житомира. Затем с конца марта 1918 года он умело и мужественно руководил боевыми действиями 4-й армии Советской Украины, которая в ожесточенных боях нанесла ряд поражений контрреволюционным войскам Центральной рады Украины и австро-германским оккупантам в районах Ровно, Дубно, Здолбунова, Бердичева, Киева, Полтавы и Харькова, а с апреля того же года успешно возглавлял оборону Харькова, командуя войсками Лебедино-Ахтырского района в составе 1-й и 5-й Донских армий.

В мае 1918 года В. И. Киквидзе на базе частей 4-й армии Советской Украины в Тамбове сформировал 16-ю стрелковую дивизию, которая с июня 1918 года по январь 1919 года исключительно храбро и самоотверженно сражалась под его командованием против белогвардейской армии генерала царской армии П. Н. Краснова. Василий Исидорович Киквидзе пал смертью храбрых на поле боя. Похоронен в Москве. Его имя присвоено станице

Преображенская Волгоградской области и 16-й стрелковой дивизии¹.

Массовое участие принимали бойцы, командиры и политработники из Грузинской ССР также в последующих вооруженных конфликтах, развязываемых империалистами разных стран против Советского Союза. Они самоотверженно сражались против японских самураев в районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Среди них особо отличились и были удостоены высоких правительственных наград офицеры М. Абзианидзе, А. Баджелидзе, А. Букия, А. Вадачкория, Н. Васищев, А. Гагуа, Н. Гвенцадзе, М. Диасамидзе, Г. Долишвили, М. Кватадзе, И. Квернадзе, С. Кетиладзе, В. Куркацашвили, И. Кочнев, С. Мачавариани, Д. Мегрелишвили, А. Остаев, С. Пангани, Г. Пачуашвили, А. Прилуцкий, Г. Размадзе, Г. Хазарадзе, К. Цуцкиридзе, П. Чанчибадзе и другие.

Наиболее массовым и героическим было боевое содружество народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. С первых же дней нашествия фашистских полчищ на нашу социалистическую Родину все советские люди под руководством великой Коммунистической партии встали на защиту завоеваний Великого Октября и государственных интересов СССР.

В годы Великой Отечественной войны в рядах Вооруженных Сил СССР находились около 700 тыс. представителей Грузинской ССР, из них более 23 800 офицеров, до 16 тыс. женщин, 60 генералов и адмиралов. За боевые заслуги и героические подвиги в период войны из Грузии было награждено орденами и медалями Советского Союза 244 700 человек, а 157 воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Защита развитого социалистического общества в современных условиях приняла ярко выраженный интернациональный характер. Ныне империализму противостоит мощная социалистическая система, обладающая неисчерпаемыми материальными ресурсами и огромной идейной мощью. Единые цели, общая идеология, интернациональный характер отношений между социалистическими странами позволяют им успешно проводить согласованную мирную внешнюю политику, укреплять свою дружбу и братство, давать решительный отпор агрессивным вылазкам империализма.

Вооруженные Силы социалистического государства сильны внутренним единством своих рядов. Каждый советский воин, какой бы национальности он ни принадлежал, является гражданином и защитником великого Союза Советских Социалистических Республик.

¹ Советская военная энциклопедия, Восниздат, М., 1977, т. 4, с. 172.



МЫ ДРУЖБОЙ ЖИВЫ

И НОГДА, точнее — изредка, совершенно неожиданно и случайно встречаешь человека, которого уже не можешь забыть — он навсегда остается с тобой и в тебе, ты постоянно чувствуешь его рядом...

Я уже не помню, когда и где познакомился с Гурамом Асатиани. Не помню, наверное, потому, что все последующие наши встречи в Вильнюсе, Тбилиси, Гагра или Москве были продолжением некоего единого праздничного настроения.

Почему праздничного? Думаю, жизнь для него была благородным, почти торжественным ритуалом, тем более удивительным,

что — повседневным. А ведь ритуал — это прежде всего чувство, и Гурам Асатиани неповторимо умел почтить друга, почтить красоту поэзии и женщины, любое творение человека и природы... Знаток мировой поэзии, он сам был поэтом. Правда, не в обычном смысле слова, не автором поэтических сборников, а скитающимся, празднующим жизнь трубадуром.

А праздновал он жизнь потому, что знал цену радости и муке, вкус счастья и беды. Вкус такой горький в последние годы жизни, когда, быть может, предчувствуемый смертельный недуг заставил искать забвения, благороднейшего философского забвения, когда ничего уже не хочешь, кроме глотка чистого воздуха и вина, куска хлеба, цветка розы, солнечных бликов поутру на лице близкого человека.

Со стороны казалось, мало у кого было так много друзей, прекрасных, настоящих друзей, как у него, и все-таки мне иногда казалось, что никто не был так одинок, как он. И, может быть, именно это чувство одиночества столь облагораживало его — все оборачивалось в его глазах благородной, прекрасной своей стороною, как бы само собою отзывалось на извечную потребность человека улыбнуться, глубже заглянуть в себя, в других, в будущее.

В статьях Гурама Асатиани воскресают поэты, о которых он пишет, — они по-дружески обступают тебя, становятся так близки, будто ты знал их в жизни со всеми их великими страстями и слабостями. Благодаря именно его книгам я ощутил и осознал то, чего порою просто не понимал из-за несовершенства поэтического перевода, — я поверил в гениальность Руставели, в величие и красоту поэзии Орбелиани, Бараташвили, Важа Пшавела, Галактиона Табидзе. И в этом не было никакой мистики. Сын выдающегося исследователя грузинской литературы Левана Асатиани, с юных лет хорошо знавший мировую литературу, защитивший кандидатскую диссертацию по французской литературе (если не ошибаюсь, по творчеству любимого им Флобера), Гурам Асатиани смог увидеть и оценить грузинскую литературу в великом контексте мирового искусства.

Без сомнения, не только эрудиция, знания и компаративистская методология выделяли книги Гурама Асатиани из ряда других работ советских критиков.

Таких книг не напишешь, не будучи человеком благородного и щедрого сердца.

Мало сказать, что Гурам Асатиани был широко известным во всей стране литературным критиком, исследователем, ценившим в литературе все, что неповторимо и истинно. Он искал эти

ценности не только в родной грузинской литературе, но и в других национальных культурах, всюду, где видел проблеск истинного таланта. В его книгах, изданных на русском языке, мы находим страницы, посвященные и литовской литературе, и я могу чистосердечно признаться, что он сумел раскрыть такие стороны нашей литературы, которых мы, литовские литературоведы и критики, еще не успели заметить. Вместе с тем он был далек от рафинированных безликих гурманов — потребителей универсальных литературных ценностей. Гурам Асатиани представлял грузинскую литературу в прямом смысле слова — активно и с достоинством, всегда и везде: и в редактируемом им журнале «Литературная Грузия», и где-нибудь в Испании на международном конгрессе критиков, и за гостеприимным грузинским столом...

И неудивительно, что все мы, большая группа литовских литераторов, приехавшая в 1978 году в Грузию по приглашению Союза писателей, вскоре оказались личными гостями Гурама, ощутились в его родной деревне и отпраздновали там день его рождения; в шумном кругу родственников и друзей мы, можно сказать, посторонние люди, не чувствуя себя, однако, таковыми, пили и ели, слушали несравненные — один лучше другого — тосты, смотрели с веранды его родного дома туда, где должна была виднеться дальняя и так любимая им с детства горная вершина, самая высокая в округе, но так и не разглядели ее, потому что уже стемнели вечерние сумерки, а мы стояли и пели ему по-литовски «Многие лета» — мы, можно сказать, посторонние...

Дружба литератур для него никогда не была журнальной абстракцией.

Сегодня, когда я смотрю на его книги, стоящие на книжной полке, на подаренные им сувениры, разглядываю его фотографии, снятые в Литве, я знаю: Гурам с нами..

Алгимантас БУЧИС

Сейчас все это осуществляется без особого напряжения го-
лосовых связок.

Массовая информация — результат естественной человеческой потребности, и порой, ужасаясь ее мощи и сокрушаясь из-за настоящих ее форм, мы начинаем роптать почему-то на естество человека или, говоря словами старшего из фолкнеровских Компсонов, обижаемся на «человеческую природу».

Один грузинский писатель моего поколения как-то на симпозиуме, посвященном аналогичной проблеме, сказал слова, которые взволновали старейшего из современных русских литераторов — Виктора Шкловского. Он сказал, что современная литература выглядит, как король Лир, которому изменили его родные дети. Не трудно понять, что он имел в виду. (Ну, конечно, те же радио, кино, телевидение).

Шкловский ответил, что он потрясен метафорой, но не приемлет мысли, заключенной в этом сравнении, ибо — «увы, мой милый молодой друг, мы не можем остановить историю!»

Это сказал многоопытный и очень веселый по нраву человек:

Хотим мы этого или нет, наши дети все чаще и все дольше смотрят на телеэкран и все меньше в книги или на закат солнца и держат в руках транзисторы, которые повсюду носят с собой, а не букеты диких роз или гроздья винограда.

И все дело в том, сумеем ли мы, удастся ли нам внести разумное начало в эти новые изображения и звуки, которые заполняют их зрение и слух. Хватит ли нам мужества сделать это во имя наших детей?!

Сумеем ли мы всеми силами воспрепятствовать проникновению в эти хрупкие, не имеющие соответствующего иммунитета души самых страшных вирусов нашего времени — в частности, вирусов конформизма и одиночества. Ибо я, как, наверное, многие из вас, убежден, что конформизм и одиночество — две стороны одной медали.

Недавно мне довелось прочитать очень горькую, тревожную статью писателя, которого природа наделила блестящим умом и чутким сердцем.

Уильям Сароян в статье «Разрушение личности» (еженедельник «Нэйшн», 12 ноября 1973 г.), анализируя социальное и нравственное поведение большинства людей, вносит в словарь современной социологии новое понятие — понятие «примыкания», говоря точнее, это новый термин, выражающий один из аспектов конформизма.

Как всякий новый термин, он раскрывает новые грани знакомого уже явления.

Я не собираюсь спорить со статьей, которая по-человечески глубоко тронула меня. Но слово «примыкать» многие до нас понимали и в настоящее время понимают по-разному. И я считаю своим долгом напомнить об этом.

Я, как и автор упомянутой статьи, — сын маленького, вернее немногочисленного народа. Кстати, живут эти народы в непосредственном соседстве. Оба имеют свою государственность и входят в состав Союза Советских Социалистических Республик. Они имеют также свою культуру, свою многовековую духовную историю.

В XII столетии на родном мне грузинском языке была написана поэма «Витязь в барсовой шкуре» и, представьте себе, в этом произведении стояла именно эта проблема. А решалась она таким образом, что герои этой поэмы, красивые, отважные, цельные по натуре молодые люди добивались победы над злом, над античеловеческим началом, лишь примкнув друг к другу, соединив свои помыслы и свои усилия.

Несколько позже летописцами времен монгольского нашествия в этой же стране зафиксирован факт, который дважды послужил материалом для создания значительного художественного произведения.



В первый раз — в прошлом столетии, став основой сюжета патриотической поэмы писателя, который считается у нас духовным предводителем национально-освободительного движения грузинского народа, а во второй раз, войдя в фабулу исторической эпопеи, изданной в 70-х годах нашего века. Автор этого романа — известный советский писатель.

Вот эта история.

По приказу ноина главарей преданного заговора оголяют, скручивают им сзади руки, мажут спину медом и выбрасывают на солнцепек. Один из участников заговора, чудом оставшийся на воле, старается спасти единомышленников, когда же это не удастся, он идет на огороженную площадь, где томятся его друзья, сбрасывает с себя рубаху и, получив от палачей свою порцию меда, становится рядом с ними.

Вот какое конкретное значение может иметь слово «примкнуть»!

Однако я не собираюсь подтасовывать значения. Я полностью отдаю себе отчет в том, что именно имеет в виду Уильям Сароян.

И здесь, опять-таки не оспаривая достоверности некоторых его наблюдений, хочу обратить ваше внимание на одну замечательную закономерность жизни.

Люди — многие из современных нам людей — легко «примыкают» (в сарояновском смысле этого слова) тогда, когда они утрачивают свои корни, то есть то, что их связывает с родной почвой и держит на этой почве. Корни иногда сковывают человека, порой они прорастают через такие слои, в которых скопились грязь и зловоние.

Но без корней человек лишен живительной влаги, прочности устоев, малейший ветерок может свалить его, перешвырнуть на другое место. После этого в сущности уже безразлично, «примкнул» он или нет, потому что это уже не живое существо, не суверенная личность, не сын своего народа, не потомок своих предков и предтеча своих правнуков, а тот опустевший дом, в котором разводятся злобещие рыжие муравьи Маркеса.

Случается и так, что большие ветры истории с корнями вырывают огромные деревья. Но стоит буре стихнуть, и жизнь входит в свою колею.

Когда мы сегодня говорим о советском человеке — о главном предмете советской литературы — наивно представлять дело так, как будто этот человек существует как абстракция, как простая сумма каких-то придуманных нами качеств. Под этим понятием в самом деле подразумевается нечто удивительно слож-

ное и многообразное. Потому что в представителе каждого народа или народности (я имею в виду истинных полноценных представителей), наряду с новыми, приобретенными за последние полстолетия свойствами, сохранены и развиваются черты, приданные ему всей предысторией его «рода», всей совокупностью предшествующих ему национальных традиций. Такой человек физически неспособен быть одиноким или примкнувшим к чему-то чуждому его природе. Потому что он носит в себе целый мир, который ему надо спасти, выразить и утвердить.

Советская литература — сравнительно молодая литература. Но она имеет большой и многообразный опыт, и один из выводов, который мы сегодня можем извлечь из этого опыта, состоит именно в том, что все по-настоящему ценное (народное, прогрессивное, непреходящее) создается художником именно в том случае, когда у него есть не только крылья — то есть мечта, принципы, идеалы, но и эти корни, связывающие его с живительными силами земли. Потому что без этих корней возникают и умножаются лишь бутафорные растения, которые можно «пересадить» с одного места на любое другое.

Однако пора уже отказаться от метафористики, тем более что я не поэт, а всего лишь литературный критик.

Недавно, перед самым нашим отъездом, в Москве обсуждался шеститомник «Истории советской многонациональной литературы». Иногда, говоря о советской литературе, забывают о том, что она многонациональна, а это большая оплошность. Потому что без этого сегодня просто невозможно понять, что такое советская литература.

Русская литература оказала огромное воздействие на другие национальные литературы. И начинается это воздействие не с Горького и Маяковского, а с гораздо более ранних пор — с Пушкина, с Достоевского, с Толстого...

Дух праздоискательства — вот что почерпнули мы в первую очередь из этой сокровищницы.

Но существуют свидетельства и обратного влияния. И это касается не только литературы народов, имеющих свою письменность с далеких времен (как, например, Армения и Грузия), но и тех, которые ее получили в советское время.

Николай Тихонов еще в 30-х годах говорил, что русские поэты обращались к Кавказу в самые кризисные моменты их биографии. Говоря это, он имел в виду и Пушкина, и Лермонтова, и Есенина, и себя, а также Пастернака и Заболоцкого. И говорил он не только о кавказской природе, но и о духовной культуре народов, населяющих этот край.

Поэты Советского Кавказа и Закавказья внесли бесценный вклад в развитие многонациональной советской поэзии, обогатив ее оригинальными красками, образами, которые восходят к истокам национальной мифологии и несут на себе отпечаток большой поэтической культуры, имеющей многовековую историю.

Это прежде всего поэты Советской Армении и Советской Грузии — Галактион Табидзе и Аветик Исаакян, Егише Черенц и Георгий Леонидзе.

То, что сейчас делают Кайсын Кулиев и Расул Гамзатов, предопределяет своеобразие сегодняшней советской поэзии в той же степени, в какой оно предопределено творчеством крупнейших русских поэтов современности.

Думаю, я не отвлекусь от темы, потому что пример всех этих поэтов знаменателен. Они учили и учат человека, в частности молодого советского человека (ведь молодежь — главный читатель поэзии во всех странах), что путь его истинного самоутверждения в жизни там, где он может видеть себя частицей общего движения, устремленного вперед, и вместе с тем они — эти поэты — напоминали и напоминают ему, что человек не имеет права забывать свое происхождение, свой отчий кров, свою колыбельную, свой язык, что он должен понимать смысл таинственных изображений на вытканном его прабабушкой ковре, понимать код своей культуры, ибо он не просто частица движения, а его активный участник, обогащающий своим участием это движение, предопределяющий живое многообразие и внутреннюю полноту этого потока.

Без этой многоцветности и внутренней полноты жизнь теряет одно из самых существенных свойств — свое эстетическое оправдание.

Вот о чем нам говорит, в частности, опыт многонациональной советской литературы, которым мне хотелось с вами поделиться.



Александр ТЕР-ОГАНОВ

ФОТОГРАФ — ЛЕТОПИСЕЦ

ДМИТРИЯ Ермакова, тбилисского фотографа и искусствоведа, по праву можно причислить к деятелям грузинской культуры. Творчество его охватывает период со второй половины XIX по первое десятилетие XX века. Мы не случайно употребили



Бывшая Дворцовая улица.

здесь слово «творчество», ибо фотографии, сделанные Д. Ермаковым, — это подлинные произведения искусства.

За сорок лет работы он собрал огромный фотоматериал. В каталоге его работ, изданном к концу XIX века в Тбилиси, насчитывалось около 18 тысяч фотоснимков.

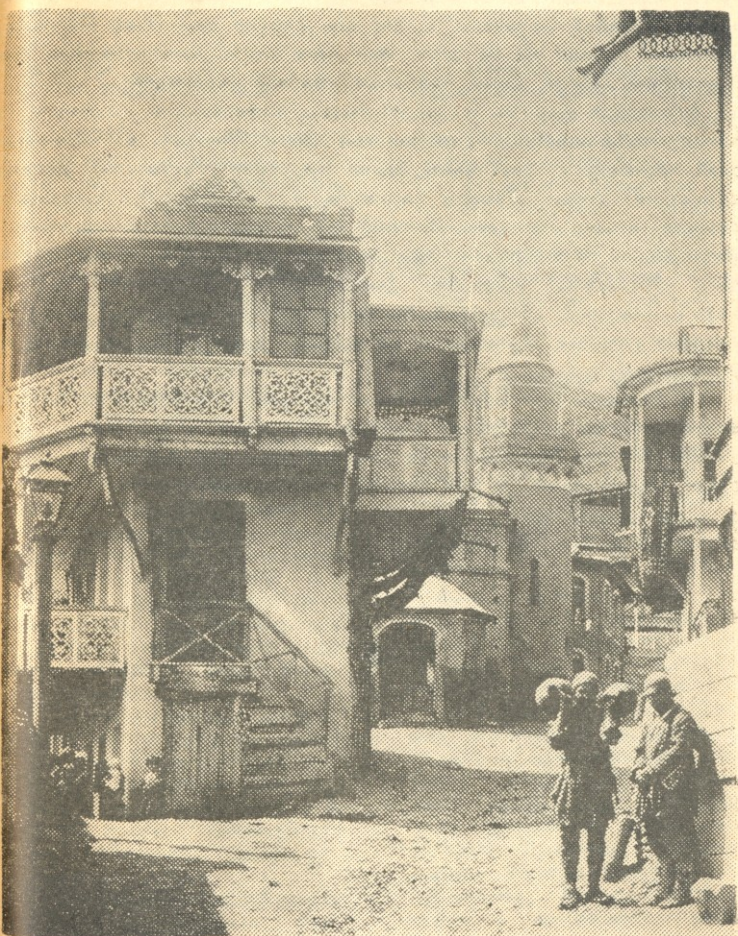
Что только не запечатлел его фотообъектив: Грузию, Кавказ, Ближний Восток, Иран, Турцию, Крым, даже отдельные эпизоды русско-турецкой войны 1878 года. Но для нас он в первую очередь интересен как фотолетописец Тбилиси, с любовью, тонко и со вкусом запечатлевший неповторимый колорит и своеобразный быт «азиатского в Европе и европейского в Азии» города.

«Всевидящий» объектив его фотоаппарата донес до наших дней образы карачохели и кинто, тулухчи и угольщиков, плотогонов и кузнецов, шорников, сапожников, портных — всех тех, кто жил, работал, радовался и страдал в Тбилиси.



Дом на углу бывшей Дворцовой улицы.

Не было в Тбилиси более или менее интересного события, которое не стало бы объектом отображения для Д. Ермакова: приезд императора в Тбилиси или наводнение на Куре, открытие памятника А. С. Пушкину или смена караула у дворца наместника, приезд кахетинского крестьянина в Тбилиси или кутеж имеретинского князя в саду Муштаид. Его фотоснимки разнообразны и тематически: общие виды города и архитектура отдельных зданий,



Ботаническая улица.

мосты и транспорт, семейный интерьер и тбилисский типаж, мастерские и труд ремесленников.

Д. Ермаков, словно предчувствуя время, в первую очередь запечатлел то, чему суждено было уйти, уступить место новому, — «азиатский» Тбилиси: татарский майдан, метехский и ослиный мосты, мечеть шах-Аббаса, караван-сарай на правом берегу Куры, Пески, Мадатовский остров, водяные мельницы на Куре, паром, кутеж карачохели на плоту. Вот группа тбилисских «мокалаков» пирует в садах Ортачалы. Сидят так, словно сам Нико Пиросманашвили усадил их за стол. Или чего стоят запечатленные им тбилисские крыши, дома, покрытые красной черепицей.

Благодаря ему мы сегодня имеем возможность взглянуть на облик новорожденной европейской части Тбилиси: вот Головинский проспект с фаэтонами (ныне проспект Руставели), дворец наместника (ныне Дворец пионеров и школьников), Эриванская площадь (ныне площадь Ленина) со своими караван-сараями и гостиницами. Фотоаппарат немного переместился — и вот появились гостиница «Ориант» (ныне Дом художника), здание «Артистического общества» (ныне театр им. Руставели). Все это увидено глазами тбилисца, и на всем — след любви и уважения к родному городу.

Д. Ермаков был образованным человеком, и, наверное, потому в его работах чувствуется влияние живописи и новорожденного кинематографа. Некоторые из его работ — законченные живописные произведения с прекрасной композицией.



ЮБИЛЕЮ ПОЭТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ЭТОМ году исполняется 80 лет со дня рождения одного из основоположников новейшей грузинской советской поэзии Алио Мирцхулава (Машашвили). В связи с юбилейной датой в Союзе писателей Грузии организована юбилейная комиссия под председательством вице-президента Академии наук республики, академика Академии наук Грузии Г. Джибладзе.

Комиссия решила отметить юбилей поэта в ноябре нынешнего года. К юбилею будут изданы избранные произведения поэта на грузинском и русском языках.

В Хоби, где родился и провел детство А. Мирцхулава, откроется Дом-мемориал, во дворе которого будет сооружен памятник.

В Государственном литературном музее Грузии имени Г. Леонидзе развернется выставка, рассказывающая о жизни и творчестве поэта. В школах, вузах, библиотеках будут проведены литературные вечера.

В обсуждении юбилейных мероприятий приняли участие председатель правления Союза писателей Грузии Н. Думбадзе, секретари правления Союза писателей республики Р. Миминошвили,

Г. Чиладзе, директор издательства «Сабчота Сакартвело» Г. Панджикидзе, директор Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели Академии наук Грузии, академик Академии наук республики А. Барамидзе, народный художник СССР У. Джапаридзе, секретарь комиссии писатель Э. Убилава.

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ И БРАТСТВА

В ДОМЕ актера имени А. Хоравы состоялся творческий вечер известного армянского писателя, драматурга и публициста Вардгеса Петросяна, организованный Союзом писателей Грузии.

Вечер вступительным словом открыл председатель правления Союза писателей Грузии, лауреат Ленинской премии Н. Думбадзе. От имени общественности Грузии, грузинских писателей он сердечно приветствовал славного представителя армянской литературы, председателя правления Союза писателей Армении, продолжателя богатых традиций содружества культур грузинского и армянского народов В. Петросяна и пожелал ему больших творческих успехов.

Н. Думбадзе вручил армянскому писателю сборник

его рассказов на грузинском языке, на днях изданный в Тбилиси.

О жизни и творчестве писателя на вечере рассказал секретарь правления Союза писателей Армении, доктор филологических наук, профессор А. Григорян.

На вечере также выступили писатель Р. Джапаридзе, председатель армянской секции Союза писателей Грузии Б. Сейранян, исследователь грузино-армянских литературных взаимосвязей, доктор филологических наук Б. Арвеладзе, поэт М. Поцхишвили.

В. Петросян тепло поблагодарил Союз писателей Грузии за приглашение в Тбилиси, за этот вечер, который дал ему возможность вновь встретиться со своими грузинскими друзьями, читателями.

На творческом вечере присутствовали секретарь ЦК КП Грузии Г. Енукидзе и заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Джанберидзе.

КОНТАКТЫ
РАСШИРЯЮТСЯ



044935940

7 02 00 0109 13

РУМЫНСКОЕ издательство

«Эдитура универс» выпустило в свет сборник рассказов грузинских писателей под общим названием «Шатили».

Издание подготовлено и переведено на румынский язык большим другом грузинской литературы, румынским писателем Марчелом Петришором.

Румынские читатели смогут познакомиться с произведениями Нико Лордкипанидзе, Константина Лордкипанидзе, Левана Готуа, Нодара Думбадзе, Чабуа Амирэджиби, Тамаза Чилэдзе, Реваза Ианишвили, Отия Иоселиани, Гурама Хараидзе, Нодара Цулейскири и других.

Издание сборника «Шатили» еще одно свидетельство постоянно развивающихся румыно-грузинских литературных взаимосвязей.

Ранее в Румынии были изданы антологии грузинской поэзии и прозы, осуществлены переводы значительных произведений грузинских советских писателей.

На 1-й стр. обложки: новая площадь в г. Тбилиси.

Сдано в набор 11.IV.83 г. Подписано к печати 13.VI.83 г. Формат 34×108¹/₃₂. УЭ 04227. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,76. Уч-изд. л. 9,4. Тираж 8600 экз. Заказ № 1005. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ.

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к

60/123

ИНДЕКС 76117

04905940
2020100000

Всего страниц 12
в том числе
в 1-й части
в 2-й части
в 3-й части
в 4-й части
в 5-й части
в 6-й части
в 7-й части
в 8-й части
в 9-й части
в 10-й части

Содержание
1. Введение
2. Глава I
3. Глава II
4. Глава III
5. Глава IV
6. Глава V
7. Глава VI
8. Глава VII
9. Глава VIII
10. Глава IX
11. Глава X
12. Заключение

Итого страниц 12

Итого страниц 12





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ